

A. P. ...

...

...

К.М.Станюкович. Собр.соч.в 10 томах. Том 3 //Издательство «Правда»,
Москва, 1977
FB2: "Ustas ", 2006-08-03, version 1.0
UUID: 7B22D689-E869-4583-899C-B19D08E9B2C1
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

Пассажирка

Содержание

#1	0006
I	0006
II	0019
III	0032
IV	0047
V	0069
VI	0088
VII	0095
VIII	0105
IX	0114
X	0119
XI	0128
XII	0140
XIII	0149
XIV	0154
XV	0157
XVI	0168

**Константин Михайлович
Станюкович
Пассажирка
рассказ [1]**



Дня за два до ухода нашего из Сан-Франциско мичман Цветков, только что вернувшийся с берега, стремительно ворвался в кают-компанию и воскликнул своим бархатным тенорком:

— Какую я вам привез, господа, новость! Одно удивленье!

И чернокудрый пригожий молодой мичман, веселый, легкомысленный и жизнерадостный, ухитрявшийся влюбляться чуть ли не в каждом порте, где клипер наш стоял более трех суток, — окинул живым, смеющимся взглядом своих красивых черных глаз несколько человек офицеров, благодушеествовавших после обеда за чаем.

— Ну какая там у вас новость? — недоверчиво и лениво кинул с дивана старший офицер Степан Дмитриевич и, потянувшись, зевнул, собираясь, по обыкновению, соснуть часок после обеда.

— Уж не садится ли к нам адмирал? — испуганно спросил кто-то.

— Нет, нет... новость самая приятная! —

рассмеялся мичман, открывая ряд ослепительно белых зубов. — Только моя новость не для вас, Евграф Иванович, и не для вас, Антон Васильич, — обратился он, лукаво улыбаясь, к пожилому артиллеристу и к доктору.

— Это почему?

— Вы — в законе. И не для вас, батя... Вы — монах! И не для тебя, милорд. Ты — влюбленный жених. Тебя ждет не дождется в Кронштадте твоя невеста.

— Да не балагань, говори, в чем дело! И без того довольно похож на Бобчинского [2]! — проговорил медленно, сквозь зубы, товарищ и приятель Цветкова, мичман Бобров, прозванный “милордом”.

Рыжий, с выбритыми нарочно губами и маленькими, не доходившими до конца щек бачками, сухощавый и прилизанный, сдержанный и серьезный, он действительно смахивал на англичанина и корчил англомана, стараясь усилить это внешнее сходство и соответствующими, по его мнению, английскими привычками: напускал на себя невозмутимость, выпучивал бессмысленно глаза, цедил слова, носил фланелевые рубашки, пил пор-

тер и ничему не удивлялся.

— То-то: говори! А небось не угостишь бедного мичмана русской папироской... Эти манилки... Черт бы их побрал!.. Ну, не раздумывай же, благородный лорд... Давай!

“Благородный лорд”, запасливый, бережливый и вообще очень аккуратный молодой человек, не только не делавший долгов, но кое-что сохранявший от своего небольшого жалованья, — несмотря на второй год плаванья, курил еще папиросы, взятые из России. Он крайне неохотно угощал ими и не без некоторого внутреннего колебания достал папиросницу, но предусмотрительно не подал ее Цветкову, а, вынув одну папироску, протянул ее веселому мичману, давно прокурившему и проугощавшему свой запас.

Тот, после первой жадной затяжки, значительно и торжественно проговорил, прищуривая смеющиеся глаза:

— У нас на клипере будет пассажирка! Пойдет с нами до Гонконга... Не ожидали, господа, такой новости, а?..

И жизнерадостный мичман оглядел всех победоносным взглядом.

Новость эта, видимо, произвела впечатление на моряков.

— Пассажирка! — раздались восклицания.

— И даже две: молодая барынька и ее горничная, тоже молодая...

— Не плод ли это твоей фантазии, сэръ? — усмехнулся милорд.

— Фантазии?! Прикуси свой язык, милорд, и кстати уж проглоти аршин, чтоб окончательно походить на англичанина.

— А собой как барыня? — спросил кто-то из молодежи.

— Чудо что такое!.. Ослепительная блондинка с золотистыми волосами. Бела как снег... Улыбка чарующая... Взгляд ангела... Умница... Одета с изящной простотой... Стройна и сложена божественно... Бюст роскошный... Ручки — восторг: маленькие, с ямочками... Ножки...

— А горничная какова? — неожиданно перебил мичмана, восторженно перечислявшего все прелести пассажирки, долговязый вихрастый юнец гардемарин с крупными сочными губами.

— На кой вам черт знать о горничной?! —

негодуяюще воскликнул мичман. — Я рассказываю о ней, об этой дивной женщине, а вы — горничная! Это — профанация! У вас, видно, горничные только на уме... Тьфу!.. Впрочем, и горничная ничего себе! — вдруг, смеясь, прибавил мичман. — Ухаживайте за ней на здоровье!

— А ты уж, видно, того... втюрился в пассажирку? — насмешливо промолвил милорд.

— И ты втюришься, как ее увидишь, даром что жених.

Милорд презрительно усмехнулся и процедил:

— Я не такой влюбчивый воробей, как ты...

— Какая такая пассажирка, Владимир Алексеич? Откуда она вдруг объявилась, и где это вы все узнали? — спросил, в свою очередь, и старший офицер, Степан Дмитриевич, умышленно равнодушным тоном, слушавший, однако, с живейшим любопытством описание прелестной пассажирки и втайне переживавший радостное волнение завязанного женолюба.

И Степан Дмитриевич, далеко неказистый из себя мужчина лет около сорока, белобры-

рый, коренастый, начинавший сильно лысеть, с красным от загара, угреватый, непривлекательным лицом, среди которого, словно руль, торчал длинный, неуклюжий нос с шишкой на кончике, невольно оживился, забыв сон, пригладил с достоинством потную лысину и с самым донжуанским видом стал крутить концы своих темно-рыжих усов. В то же время его маленькие с воспаленными веками глазки еще более сузились и подернулись, как выражались мичмана, “прованским маслом”, и сам он молодежато выпятил грудь колесом, представляя некоторое подобие бочонка.

Дело в том, что Степан Дмитриевич, отличный служака, добрый и вообще скромный человек, имел одну непростительную слабость — считать себя весьма и весьма соблазнительным мужчиной и думать, что нравится дамам.

— Я сейчас видел пассажирку у консула. Она приезжала к нему с горничной выправить бумаги... Меня представили ей, и мы с ней говорили... И капитан в это время был у консула. Ну и скажу я вам, господа, наш-то ка-

питан...

— А что?..

— Потеха! Даром, что и с брюшком, и почтенный отец семейства, а так и рассыпался, так и лебезил... Совсем не такой свирепый, каким бывает во время авралов... Губы распустил, “ля-ля-ля”, ходит вокруг, словно кот около сливок... консульша даже смеялась... И когда консул просил взять этих дам пассажирками до Гонконга, капитан с удовольствием согласился и предложил к услугам очаровательной блондинки свою каюту... А она, как царица, чуть-чуть кивнула головкой.

— Они американки, что ли? — снова попытствовал старший офицер, довольно плохо объяснявшийся на английском диалекте.

— Какие американки! Чистейшие русские, москвички. С какой стати капитан взял бы американок пассажирками!

Это известие привело всех еще в больший восторг.

— Как же они сюда попали, в Калифорнию?

— Очень просто. Прелестная блондинка

была замужем за американцем, инженером Кларком. Этот Кларк был зачем-то в России, встретился с русской красавицей и влюбился, понятно, в нее. Она, только что кончившая курс институтка, дочь какого-то генерала, тоже влюбилась в американца. Ну, повенчались и уехали в Америку; с ними уехала и русская горничная, бывшая крепостная. Прожили они, по словам консула, пять лет вполне счастливо, — американец обожал жену. Три года тому назад они приехали в Калифорнию, и здесь американец потерял все огромное свое состояние на спекуляциях с золотыми приисками. В отчаянии он в один прекрасный день пустил себе пулю в лоб... Ну не болван ли?

— Положим, болван, но что же дальше? — спросил кто-то.

— Эти три года несчастная вдова жила в Сакраменто [3] у родных мужа и затем в Сан-Франциско, давала здесь уроки музыки. Кое-какие деньги, оставшиеся у нее после богатства мужа, пропали у разорившегося банкира. Ее потянуло на родину, и вот теперь она возвращается в Россию, отказав трем богатым

женихам...

— Это она все тебе сообщила? — иронически заметил милорд.

— Нет, пронизательный милорд, не она, а консульша... Она с ней давно знакома.

— Что ж она — неутешная вдова, что ли?

— Этого я не знаю... Знаю только, что она прелестна и, по словам консульши, безупречной репутации. Ее так и зовут здесь “мраморной вдовой”.

— А сколько ей лет?

— В консульстве говорили: тридцать, но это вранье, по-моему. Ей много-много двадцать пять... Она глядит совсем девушкой, так она свежа и хороша, эта миссис Вера, как ее здесь зовут. Ну, вот вам и вся история... Эй, вестовые, чаю! — крикнул мичман.

— Она не разучилась говорить по-русски? — спросил старший офицер.

— Отлично говорит. Изредка только у нее заедает [4]. А голос-то какой, Степан Дмитрич!

— Хороший?

— Бархат! Так и ласкает, так и проникает в душу!

— Посмотрим, посмотрим вашу красави-

цу! — весело и самоуверенно, с видом опытного знатока, промолвил Степан Дмитрич, задорно как-то крякнул и пошел к себе в каюту отдыхать.

“Черта с два ты посмотришь! Роба вроде медной кастрюльки, а тоже воображает!” — мысленно напутствовал его мичман. И бросил в спину старшего офицера неприязненный, насмешливый взгляд.

Распросы насчет пассажирок продолжались еще несколько времени. Одни интересовались барыней, а другие (и в том числе и пожилой артиллерист, и вихрастый гардемарин) горничной, и все выражали удовольствие, что на клипере будет пассажирка, которая своим присутствием скрасит однообразие и скуку длинного перехода.

Один только “дедушка”, как звали все любимого старого штурмана Ивана Ивановича, слушая все эти разговоры, не выразил ни малейшего сочувствия и как-то загадочно усмехался, неодобрительно покачивая своей седой, коротко остриженной головой.

Мичман между тем не уставал петь восторженные дифирамбы красоте молодой вдо-

вы. Отвечая на назойливые вопросы, он хвалил и горничную, но равнодушно и сдержанно. В конце концов чуть не вышла крупная история. Лейтенант Бакланов, довольно видный блондин, кронштадтский сердцеед, сделал насчет будущей пассажирки очень нескромное замечание. Мичман вспыхнул, губы его затряслись, и он назвал Бакланова нахалом, не понимающим, как надо говорить о порядочной женщине. Дело дошло бы до крупной ссоры, если б не вмешался дедушка и, со свойственным ему уменьем миротворца, не уговорил двух распетушившихся молодых людей извиниться друг перед другом.

— Перессорятся у нас все из-за этой пассажирки! — пророчески, тоном выдавшего вида философа говорил несколько минут спустя дедушка Иван Иваныч, преклонные года которого оставляли его, по-видимому, совершенно равнодушным к прелестям женской красоты. — Еще ее нет, а уж ссора! А что же будет, когда все закружат около пассажирки, словно тетерева на току? На берегу, где много бабья, и то из-за них одни неприятности, а в море, когда одна хорошенькая дамочка среди

этих, с позволения сказать, петухов... благодарю покорно! Тут и служба не пойдет на ум... Нет-с, не резон брать пассажирок, да еще на длинный переход. Не одобряю-с! Недаром же, по регламенту Петра Великого, женщин нельзя брать в плаванье. Царь-то великого ума был... Понимал хорошо, в чем загвоздка.

Толстенский, кругленький, чистенький и свежий, как огурчик, судовой врач Антон Васильевич, перед которым философствовал старый штурман, весело закатился мелким визгливым смехом, умильно жмуря глаза, и неопределенно протянул, стараясь принять степенный вид:

— Дда... женщина, особенно хорошенькая...

— То-то оно и есть! Каждому лестно...

— Именно лестно... Хе-хе-хе!

— И посойдут они все с ума, ошалеют, как коты по весне, вспомните мое слово, Антон Васильич... Этот Цветков уже втюрился... “И такая, и сякая, писаная, немазаная”... Чего только не насказал!.. Известно, с влюбленных голодных глаз, да в двадцать три-то года, всякая смазливая дамочка — красавица... И Сте-

пан Дмитрич... даром, что лыс, а уж хвост распустил и усы стал закручивать, и капитан тоже... Вот и будет, можно сказать, у нас кавардак из-за этой самой пассажирки! — ворчливо прибавил Иван Иванович.

Иван Иванович, вообще словоохотливый вне службы, по-видимому не прочь был еще пофилософствовать на эту тему. Но, взглянув на доктора и увидав в его лице и глазах игриво-веселое выражение, далеко не обнаруживавшее сочувствия к его словам, он укоризненно покачал головой, молча докурил манилку и вышел из кают-компаний.

“Да и ты, брат, такой же саврас, как и другие!” — говорило, казалось, добродушное старое лицо штурмана.

Вечером с берега приехал капитан и тотчас же потребовал к себе в каюту старшего офицера.

Капитан был толстяк лет пятидесяти, почти седой, с крупными чертами загорелого полного лица, с крепко посаженной круглой головой на короткой шее и большими темными глазами, метавшими молнии во время гнева и добродушными в минуты спокойствия. Короткие седые усы прикрывали толстые губы, с которых нередко слетали энергические ругательства во время авралов и учений.

Напустив на себя недовольный вид и хмуря заседевшие брови, капитан проговорил резким, отрывистым голосом:

— Завтра придут две пассажирки: вдова инженера Вера Сергеевна Кларк и ее горничная... Неприятно, конечно, возиться на судне с бабьем, но что делать? Нельзя было отказать. Консул очень просил и вообще... вообще дама, заслуживающая уважения и покровительства. Я отдаю ей свою каюту. Сам поме-

щусь в рубке... Приходится из-за этой пассажирки стесняться, — все тем же недовольным тоном говорил капитан. — А вас, Степан Дмитриевич, попрошу распорядиться, чтобы хоть на это время и господа офицеры, и боцмана, и матросы воздержались... не ругались бы во всю ивановскую... Нельзя же... Понимаете, дама-с, генеральская дочь... Неприлично-с!

— Слушаю-с! Я скажу офицерам и отдам приказание боцманам, Петр Никитич!

— Особенно этот боцман Матвеев... Не может, каналья, рта открыть без ругани. Так уж вы велите ему заткнуть свою глотку, а то срам-с. Дама, и не какая-нибудь там, знаете ли, старая карга, а молодая женщина, образованная, деликатного воспитания, ну, одним словом, вполне дама-с. И жила, понимаете, долго в Америке и, следовательно, отвыкла в некотором роде от России. Здесь ведь так не ругаются! — пояснил капитан и снова повторил: — Да-с, приходится в рубке... не особенно приятно... Да и вообще не люблю я дам на военном судне... Стеснительно... Ну, да нельзя было отказать! — как бы оправдывался капи-

тан.

“Однако ловко же ты напускаешь туману!” — подумал старший офицер, вспомнив рассказ мичмана о том, как лебезил капитан перед хорошенькой пассажиркой, и проговорил:

— Это точно, Петр Никитич, дама более береговое создание...

— Да вот еще что, Степан Дмитрич, — заговорил капитан, — вы, пожалуйста, скажите мичманам и гардемаринам, чтобы они, знаете ли, того... не гонялись за горничной, как кобели, с позволения сказать... Чего доброго, заведут там еще интригу... Она пожалуется... Скандал... Военное судно... Надо помнить-с! — строго прибавил капитан.

— Слушаю-с!

Капитан помолчал.

— Больше не будет никаких приказаний, Петр Никитич? — спросил старший офицер.

— Кажется, более ничего... Снимаемся послезавтра с рассветом.

Степан Дмитриевич хотел было уходить, как капитан, внезапно меняя тон и сбрасывая с себя строгий начальнический вид, прогово-

рил с тем обычным добродушием, с каким говорил не по службе:

— А знаете ли, Степан Дмитрич, ведь наша пассажирка... того... прехорошенькая, можно сказать, дама-с!

И при этих словах лицо капитана расплылось в широкую улыбку, и большие навывкате глаза его приняли несколько игривое выражение.

— Цветков рассказывал, Петр Никитич! Говорит красавица, — отвечал, тоже весело улыбаясь, Степан Дмитрич и стал крутить усы.

— Цветков? Да, ведь он был у консула в то время, когда там была пассажирка, и успел-таки с ней познакомиться. Верно, уж и наговорил ей своих мичманских любезностей... Этот пострел везде поспел! — с оттенком неудовольствия в голосе прибавил капитан.

— Он, кажется, уж по уши влюблен в пассажирку. Вернулся с берега совсем ошале-лый! — смеясь, заметил Степан Дмитриевич.

— Ну и... и дурак! — неожиданно, с раздражением выпалил капитан.

Старший офицер удивленно взглянул на

капитана, недоумевая, с чего это его прорвало.

А капитан через несколько мгновений, словно устыдясь своего внезапного, почти инстинктивного раздражения старого, некрасивого мужчины против молодого, красивого и ловкого, имеющего все шансы нравиться женщинам, и желая скрыть перед старшим офицером истинную причину своего гневного восклицания, проговорил:

— Ведь славный этот Цветков и офицер бравый, но какой-то сумасшедший. Как увлечется, тогда ему хоть трава не расти. Помните, как он чуть было не остался в Англии из-за какой-то англичанки? Три дня мы его по Лондону искали. Ведь пропал бы человек!

— Влюбчив, что и говорить, — вставил Степан Дмитриевич, — и не понимает еще хорошо женщин, — не без апломба прибавил старший офицер, приосаниваясь.

— То-то и есть... А эта пассажирка, молодая вдовушка, может легко вскружить голову такому молодому сумасброду... Да-с! Она, как я слышал, — продолжал капитан, хоть и ниче-

го не слышал, — она, знаете ли, хоть с виду в некотором роде нимфа-с, а опасная кокетка... В глазах у нее есть что-то такое... Как в океане... Штиль, а как заревет... бери все рифы-с... ха-ха-ха!.. Я, как человек поживший, сразу заметил... Штучка! Так вокруг пальца и обведет!

И капитан повертел перед своим широким крупным носом толстый и короткий указательный палец, на котором блестел брильянтовый перстень.

— Ну и жаль будет молодого человека, если он врежется, как дурак, и наделает глупостей... Пассажирка, в самом деле, канальски хороша... Надеюсь, Степан Дмитрич, этот разговор между нами! — вдруг прибавил несколько смущенно капитан.

— Будьте покойны, Петр Никитич.

Когда старший офицер уже выходил из каюты, капитан еще раз повторил ему вдогонку, и на этот раз снова резким тоном командира:

— Так, пожалуйста, чтобы боцмана не ругались. Особенно Матвеев.

— Есть! — на ходу ответил старший офицер.

Он в тот же вечер позвал к себе в каюту обоих боцманов, Матвеева и Архипова, и, объяснив, что на клипере будут две пассажирки, строго приказал не ругаться и велел это приказание передать унтер-офицерам и команде.

Отдавая такое приказание, Степан Дмитриевич, и сам большой охотник до крепких словечек, сознавал в душе, что исполнить его боцманам будет очень трудно, пожалуй даже невозможно. И, вероятно, именно вследствие такого сознания, он, пунктуальный исполнитель воли начальства, еще грознее и решительнее повторил, возвышая голос:

— Чтобы во время работ ни гу-гу! Слышите?

— Слушаем, ваше благородие! — отвечали оба боцмана и в ту же секунду, словно охваченные одною и той же мыслью, переглянулись между собою.

Этот быстрый обмен взглядов двух боцманов совершенно ясно выражал полнейшую невозможность исполнения такого странного приказания.

— Смотри же! — прикрикнул старший

офицер. — Особенно ты, Матвеев, не давай воли своему языку. Ты загибаешь такие слова... Черт знает, откуда только берется у тебя всякая ругань. Чтобы ее не было!

Матвеев, пожилой, небольшого роста, крепкий и коренастый человек, с рыжими баками и усами, почтительно выпучив глаза, нерешительно переступал босыми жилистыми ногами и усиленно тербил пальцами фуражку.

— Буду оберегаться, ваше благородие, но только осмелюсь доложить...

И боцман еще сердитей затеребил фуражку.

— Что доложить?

— ...Осмелюсь доложить, что вовсе отстать никак невозможно, ваше благородие, как перед истинным богом докладываю. Дозвольте хучь тишком, чтобы до шканцев не долетало и не беспокоило пассажиров. Чтобы, значит, честно, благородно, ваше благородие, — прибавил в пояснение Матвеев, любивший иногда в разговоре с начальством вворачивать деликатные слова.

На смуглом худощавом лице Архипова вы-

ражалось полное сочувствие к просьбе товарища.

— Тишком?! — переспросил старший офицер, подавляя улыбку. — Ты и тишком так орешь, что тебя за версту слышно. Глотка-то у тебя медная, у дьявола!

Боцман стыдливо заморгал глазами от этого комплимента.

— Ты пойми, Матвеев, пассажирки — дамы. При них ведь нельзя языком паскудничать, как перед матрозней.

— Точно так, ваше благородие, известно дамы! — осклабился боцман. — К этому не привычны.

— То-то и есть! Так уж вы остерегайтесь... Не осрамите... А не то командир строго взыщет, да и я не поблагодарю...

— Будем стараться, ваше благородие! — ответили разом оба боцмана подавленными голосами.

— Ступайте!

Они юркнули из каюты старшего офицера, осторожно, на цыпочках, прошли один за другим через кают-компанию и, очутившись в палубе, остановились и снова перегляну-

лись, как два авгура, без слов понимающие друг друга.

— Дда! — протянул Матвеев.

— Ловко! — промолвил и Архипов.

— Нечего сказать: приказ! Остерегись тут!

— Как-то он сам остережется!

— Какая кузькина мать принесла этих пассажиров, чтоб их...

И из уст Матвеева полилась та вдохновенная импровизация ругани, которая стяжала ему благоговейное удивление всей команды.

— А вестовые сказывали, быдто горничная — цаца! — усмехнулся, подмигивая глазом, Архипов.

— И без нас, братец, довольно на эту цацу стракулистов [5]! — сердито ответил Матвеев и кивнул головой на гардемаринскую каюту... — Не бойсь, маху не дадут!

И оба боцмана, недовольные будущими пассажирками, поднялись наверх и пошли на бак сообщать распоряжение старшего офицера.

А там уж шустрый молодой вестовой Цветкова, Егорка, сообщал кучке собравшихся вокруг него матросов о том, что слышал в ка-

ют-компании, причем не отказал себе в удовольствии изукрасить слышанное своей собственной фантазией и произвел пассажирку в генеральши.

— Российского генерала, братцы, дочь, а здешнего генерала жена, — рассказывал не без увлечения Егорка. — Ва-ажная и кра-асивая! Сам генерал, братцы, из левольвера застрелился неизвестно по какой причине — спекуляция какая-то приключилась, болезнь такая, а женка после того и заскучила.

— Известно — живой человек... Без мужа заскучит! — вставил кто-то.

— “Не хочу, говорит, после того оставаться в здешних проклятых местах... Недавно, говорит, и сама тою ж болезнью заболею и решу себя жизни. Желаю, говорит, ехать непременно на родину и вторительно пойду замуж не иначе, как за русского человека”.

— Видно, баба с рассудком. Это она правильно... Со своими живи! — раздалось чье-то замечание.

— И испросилась, значит, генеральша у капитана идтить с нами до Гонконта, а оттеда она на вольном пароходе. А с ей ее горнич-

ная. Мой мичман сказывал, что такая форсистая и пригожая девушка, вроде бытто мамзели... Одно слово, братцы, краля!

— Она из каких, Егорка? Мериканка?

— Наша православная. Из России привезена, хрестьянской девушкой... Только живши в Америке в этой, мамзелистой стала на хорошем-то харче... Здесь ведь, братцы, все мясо да белый хлеб... Народ в пинжаках...

— Ишь ты... русская! А давно мы русских девок не видали, ребята! — заметил один из слушателей.

— То-то давно... А наши не в пример лучше! — решительно заявил Егорка.

— Небось, Егорка, и здешние мамзели понравились?

— Что говорить, чистый народ, но только ни она тебя, ни ты ее понять не можешь... “Вери гут да вери гут”, — вот и всего разговору...

— А хороши, шельмы, здешние... Очинно хороши...

— Наши-то поядреней... Потоваристей, — засмеялся Егорка. — А здесь только что с лица хороши... А чтобы насчет ядрености — против

российских не суждено... Костлявые какие-то...

Разговор принял несколько специальный характер, когда матросы стали входить в подробную оценку достоинств женщин разных наций. Все, впрочем, согласилось на том, что хотя и англичанки, и француженки, и китайки, и японки, и каначки [6] ничего себе, “бабы как бабы”, но русские все-таки гораздо лучше.

III

В этот теплый и яркий сентябрьский день офицеры клипера, в ожидании пассажирки, особенно внимательно занялись туалетом и мылись, брились и чесались в своих каютах дольше, чем обыкновенно. К завтраку почти все явились в кают-компанию прифранченными, в новых сюртуках с блестящими погонами и белых жилетах. Туго накрахмаленные воротники и рукава рубашек, мастерски вымытых в Сан-Франциско китайцами-прачками, сияли ослепительной белизной и блестели словно полированные. Бакенбарды различных форм были бесподобно расчесаны и подбородки гладко выбриты. Усы, начиная с великолепных усов фатоватого лейтенанта Бакланова, длинных, шелковистых, составлявших предмет его гордости и особенных забот, и кончая едва заметными усиками самого юного гардемарина Васеньки, были тщательно закручены и нафиксатуарены. Сильный душистый аромат щекотал обоняние, свидетельствуя, что господа моряки не пожалели ни духов, ни помады. Особенно благо-

ухал старший офицер, Степан Дмитриевич. Щеголевато одетый, напомаженный, прикрывший часть лысины умелой прической, он словно чувствовал себя во всеоружии неотразимости соблазнительного мужчины и то и дело покручивал свои темно-рыжие усы и ощупывал свой длинный красный нос, испробовав накануне новое верное средство против угрей.

Кают-компания, вымытая и убранная вестовыми, блестела той умопомрачающей чистотой, какая только известна на военных судах. Нигде ни пылинки. Клеенка сверкала, и щиты из карельской березы просто горели. На середине стола красовался в японской вазе, данной кем-то из офицеров, огромный роскошный букет, заказанный, по настоянию Цветкова, для украшения кают-компании. Вестовые были в чистых белых рубахах и штанах и обуты в парусинные башмаки. Старший офицер еще вчера приказал им: на время присутствия пассажирки босыми не ходить и одеваться чисто, а не то...

Только дедушка Иван Иванович да старший судовой механик Игнатий Афанасьевич

Гнененко нарушали общую картину парадного великолепия.

Иван Иванович сохранял обычный будничный вид в своем стареньком, хотя и опрятном, люстриновом сюртучке, серебряные погоны которого давно потеряли свой блеск и съежились, и с высокими “лиселями” (воротничками), упиравшимися в его чисто выбритые, старчески румяные щеки; а Игнатий Афанасьевич, человек лет за тридцать, с добрыми светлыми глазами, отличавшийся крайним добродушием, невозмутимой хохлацкой флегмой и неряшливостью, явился в кают-компанию, по обыкновению, в засаленном кителе, с вечной дырой на локте. Воротник его рубашки, повязанный каким-то обрывком, был сомнительной свежести, всклокоченные волосы, видимо, требовали гребня и щетки.

Увидав Игнатия Афанасьевича в таком костюме, Цветков, сияющий словно именинник, в ослепительно белом костюме, просто-таки пришел в ужас.

— Игнатий Афанасьевич... Голубчик... Помилосердствуйте! — возбужденно восклик-

нул он, озирая неуклюжую фигуру механика.

— А что? — невозмутимо осведомился Игнатий Афанасьевич.

— Нельзя же... На клипере будет дама, а вы... Посмотрите!

И Цветков показал дыру на локте.

Игнатий Афанасьевич тоже взглянул на дыру, почему-то потрогал ее пальцем и, улыбаясь глазами, проговорил с сильным мало-российским акцентом:

— Не зачинил шельма Иванов... А я давно ему говорил...

— Но самый сюртук! Что подумает пассажирка, увидав вас в таком костюме?

— А нехай думает что хочет! — добродушно заметил Игнатий Афанасьевич.

Раздался взрыв смеха.

— Нет, уж вы, Игнатий Афанасьевич, поддержите честь клипера... Ради бога. Сюртука вам нового жаль, что ли?..

— Да я не выйду ее смотреть...

— А если она зайдет в кают-компанию... Захочет взглянуть?.. Наконец, мы ее пригласим... Уж вы, Игнатий Афанасьевич, не спорьте, ей-богу... Не поленитесь, переоденьтесь...

Цветков так упрашивал, что Игнатий Афанасьевич, несмотря на свою лень, обещал переодеться...

— Только не думайте, что на ходу я стану для нее одеваться... Под парами я в своей куртке буду! — заметил Игнатий Афанасьевич... — Она ко мне в машину не придет, надеюсь.

Пассажирку ждали к шести часам — к обеду, вместе с консулом и консульшей, приглашенными капитаном. В пять часов за гостями был послан щегольской капитанский катер. Другой катер отправился за багажом.

Цветков хотел было отправиться с катером, посланным за гостями, но старший офицер сказал ему, что, по распоряжению капитана, ехать с катером назначен гардемарин Летков (Васенька).

— Да разве не все равно, кто поедет? Я по крайней мере уже знаком с пассажиркой... А Васенька охотно уступает мне свое право... Не правда ли, Васенька?

— Я очень рад не ехать! — подтвердил юный и очень застенчивый Васенька. — Я не умею разговаривать с дамами! — прибавил

он, краснея.

— Так разрешите, Степан Дмитрич!

— Нет, уж вы лучше сами, Владимир Алексеич, спросите капитана! — с улыбкой проговорил старший офицер.

— Что ж, и спрошу!

— Эка тебе не терпится увидеть юбку... Удивляюсь твоему легкомыслию! — процедил милорд.

— И удивляйся! — огрызнулся Цветков, выходя из кают-компания.

Большая роскошная капитанская каюта была убрана, видимо для пассажирки, особенно тщательно. Разные японские и китайские вещи, вынутые из ящичков капитана, были расставлены в разных местах, украшая убранство каюты. На накрытом, превосходно сервированном столе красовались букеты роз. Тонкий аромат духов стоял в воздухе.

Сам капитан, приодетый и прифранченный, с подстриженными волосами и баками, красный как рак и отдувающийся от жары, стоял, подавшись своим солидным брюшком вперед, озабоченно озирая убранство стола, и не заметил прихода мичмана.

“Ишь как он убрал каюту для пассажирки и как сам разукрасился, толстопузый! — усмехнулся про себя Цветков, оглядывая каюту и самого толстяка капитана. — Небось и шампанское сегодня! — завистливо промелькнуло у него в голове при виде ваз с бутылками на столе... — Жаль, что не моя очередь у него обедать... Милорд будет!..”

— Петр Никитич! — проговорил мичман.

Капитан поднял голову и, увидав Цветкова в полном блеске, сухо спросил:

— Что прикажете-с, Владимир Алексеич?

— Позвольте мне, Петр Никитич, ехать с капитанским катером вместо гардемарина Леткова.

— Это почему-с? Со шлюпками ездят гардемарины, а вы, кажется, мичман-с.

Эти “ерсы”, которыми сыпал капитан, и резкий, сухой тон его голоса, казалось, должны были бы предостеречь мичмана от продолжения и заставить его убраться подобру-поздорову из каюты, — но он, охваченный страстным желанием прокатить хорошенькую блондинку на катере под парусами и щегольнуть перед ней своим уменьем лихо

управлять шлюпкой, не замечал, что капитанские глаза предвещают бурю, и прежним легкомысленным тоном продолжал:

— В таком случае позвольте, Петр Никитич, просто поехать встретить пассажирку. Быть может, ей понадобятся услуги какие-нибудь... Так я...

— Это еще что за встречи, Владимир Алексеич?! — перебил, закипая гневом, капитан. — Какие такие вы выдумали особенные встречи?.. Какие там услуги-с?! С чего вы вздумали гоняться за пассажиркой? Вы ведь офицер военного судна, а не какой-нибудь, с позволения сказать, годовалый понтер-с! Тоже встречи устраивать! И как вы позволили себе, господин мичман, обращаться ко мне с таким вздором, а? — вдруг крикнул капитан, уставив свои выпученные глаза с вращающимися белками на Цветкова.

Никак не ожидавший такого гневного взрыва, Цветков проговорил:

— Я полагал, что...

— А вы не полагайте-с и не приходите к капитану с подобными заявлениями... Ишь... разрядились как! — прибавил капитан, огля-

дывая блестящего мичмана. — Какая-то пассажирка, а уж вы...

— Я полагаю, это до службы не относится, Петр Никитич! — довольно твердо заметил Цветков, взглядывая на капитана в упор.

— Все-с относится к службе! — понижая тон, отвечал капитан. — Можете идти-с!

Цветков вернулся в кают-компанию в возбужденном состоянии, раздраженный.

— Ну что, едете за пассажиркой, Владимир Алексеич? — лукаво спросил старший офицер.

— Какое еду... Он еще меня разнес.

— За что же?

— А вот подите. Раскричался словно оглашенный. Даже насчет костюма заметил: “разрядились”, говорит... Но тут я ему задал “асса-же” [7]. Какое ему дело — разрядился я или нет? И с чего он взъерепенился, скажите на милость? Кажется, ничего нет позорного встретить даму?.. А, главное, сам-то он ради пассажирки фронт фронт оделся... Ей-богу, вот увидите... И каюту изукрасил как! Везде китайщина и японщина... На столе букеты роз. К обеду шампанское... За что же мне-то

попало?

— И не так еще попадет, Владимир Алексеевич! — промолвил Иван Иванович.

— За какие такие дела, дедушка?

— А все из-за этой пассажирки.

— Она-то тут при чем?

— А притом, что все вы из-за нее с ума походите... Уж вот вы, батенька, горячку заправили... непременно встречать ее захотели... Еще посмотрите на пассажирку. Переход-то длинный.

— А сколько, примерно, времени?

— Да уж никак не меньше трех недель.

— И чудесно, дедушка! — воскликнул мичман.

— Что чудесно?

— Она три недели будет с нами.

— Эх вы... ненасытные! Мало вам, что ли, влюбляться на берегу — еще в море захотели! — заметил, улыбаясь, дедушка. — Сколько у вас будет соперников. Друг дружку станете ревновать.

— Она ни на кого из нас не обратит внимания, дедушка.

— Ну так вы и совсем взбеситесь. Помяни-

те мое слово!

Цветков уже весело смеялся, слушая дедушку, забыл о “разносе”, полученном от капитана, и все время нетерпеливо поглядывал на часы.

В это время в кают-компанию вошел Игнатий Афанасьевич в новой паре, в чистой рубашке, повязанной каким-то необыкновенным бантом, приглаженный, прилизанный и выбритый.

— Браво, Игнатий Афанасьич! Совсем вы молодцом! — воскликнул Цветков.

— Того и гляди в Игнатия Афанасьича пассажирка влюбится! — заметил кто-то.

— А пусть влюбится! — невозмутимо произнес Игнатий Афанасьевич, вызывая общий смех, и поспешил присесть к столу, видимо чувствуя себя не совсем ловко в новом платье и потому несколько удрученный.

— Катер, господа, идет! — крикнул в открытый люк вахтенный офицер.

Все бросились из кают-компания наверх смотреть пассажирку.

День был превосходный. Жара умерялась легким ветерком. Пользуясь им, капитанский

катер, слегка накренившись, приближался под парусами к клиперу, лихо прорезывая кормы и носы многочисленных судов, стоявших на оживленном сан-францисском рейде.

Все бинокли устремились на катер. Один лишь Степан Дмитриевич, желая, в качестве старшего офицера, показать солидность, с напускным равнодушием разгуливал по шканцам, по временам подрагивая бедрами и неустанно закручивая усы.

— Ни-че-го осо-бен-ного! — процедил, отводя бинокль, милорд, стараясь показать ледяное равнодушие и корча из себя, по случаю приезда пассажирки, равнодушного ко всему в мире человека, как и подобало быть, по его мнению, настоящему англичанину.

— И болван ты, благородный лорд, после этого! — воскликнул прильнувший глазами к биноклю Цветков.

— Парламентское выражение!

— Или ты врешь, или ничего не понимаешь в красоте. Она идеально хороша... Вот увидишь ее вблизи, и если ты не английская швабра, то...

— И “швабра”... весьма мило! — насмешли-

во перебил милорд.

— Да как же ты смеешь говорить: “ничего особенного”. Чего тебе особенного!.. Однако Васенька молодцом правит... Ишь как ловко подрезал корму американцу... Лихо!

— Нет, хорошенькая, я вам скажу, дамочка! — произнес ни к кому не обращаясь кругленький, толстенький, чистенький доктор и захихикал своим мелким смехом.

— И, как следует, с аванпостами и вообще... Хо-хо-хо...

И пожилой старший артиллерийский офицер, интересовавшийся горничной, весело загоготал.

— Уже заржали молодцы! — промолвил дедушка и безнадежно махнул рукой.

— Да вы взгляните, Иван Иванович, так и сами... того... — обратился к нему вполголоса доктор, предлагая бинокль.

— Чего смотреть? Не видал я, что ли, юбок-с? Видывал. И без бинокля увижу. Небось пассажирка будет вечно торчать наверху при таких кавалерах... Только вахтенному мешать будет!

Посматривали, рассыпавшись у бортов, и

матросы на приближавшийся катер.

А в это время боцман Матвеев обходил клипер и вполголоса говорил матросам:

— Смотри же, ребята, чтобы, значит, худого слова ни боже ни... А не то я вас...

И боцман заканчивал, правда довольно тихо, угрозами, сопровождая их самыми худыми словами.

— Сигнальщик! Доложи капитану, что катер с консулом пристает к борту! — крикнул стоявший на вахте красивый блондин Бакланов. — Фалгребные наверх! — скомандовал он затем и, молодежато сбежав с мостика, пошел для встречи гостей.

В ту же минуту наверху появился капитан и, слегка сторбившись, умышленно неторопливой, ленивой походкой направился к парадному трапу. Своим недовольным, сумрачным видом, своей походкой он словно хотел соблюсти свой капитанский престиж и показать перед офицерами, что приезд пассажирки не только нисколько его не интересуется, но как будто даже и не особенно приятен.

Между тем катер, сделав поворот, лихо пристал к борту. Паруса миготали, и Ва-

сенька, разгоревшийся от волнения, бросил руль и предложил своим пассажирам выходить. Через несколько секунд на палубу в числе других гостей — пожилой консульши и ее мужа — легко и свободно спустилась по маленькому трапу молодая пассажирка.

IV

Хотя увлекающийся мичман и сильно преувеличил красоту пассажирки в своих безумно восторженных дифирамбах, тем не менее она действительно была очень недурна собой, эта стройная, изящная, ослепительно свежая блондинка, небольшого роста, с карими глазами и светло-золотистыми волосами, волнистые прядки которых выбивались на лоб из-под маленькой панамы с короткими, прямыми полями, скромно украшенной лишь черной лентой.

Было что-то необыкновенно привлекательное в тонких чертах этого маленького, выразительного, умного личика с нежными, отливавшими румянцем, щеками, капризно приподнятым красивым носом, тонкими алыми губами и округленным подбородком с крошечной родинкой. Особенно мила была улыбка: ласковая, открытая, почти детская. Но взгляд блестящих карих глаз был далеко не “ангельский”, как уверял Цветков. Напротив. В этом, по-видимому, спокойно-приветливом ясном взоре как будто прятался насмешли-

вый бесенок и чувствовалась кокетливая уверенность хорошенькой женщины, сознающей свою привлекательность и избалованной поклонниками.

Пассажирка была вся в черном, что, впрочем, очень шло к ней, оттеняя поразительную белизну ее лица. Тонкая, изящная жакетка с небольшими отворотами обливала ее гибкий, крепкий стан, обрисовывая тонкую, точно девственную талию и красивые формы хорошо развитого бюста. Белоснежный отложной воротничок манишки, повязанной фуляром, не закрывал красивой, словно выточенной из мрамора шеи. На груди алела бутоньерка из роз. Недлинная шелковая юбка позволяла видеть маленькие ноги в изящных кожаных ботинках. Все сидело на ней красиво и ловко, все до мелочей было полно изящного вкуса. И сама она, удивительно моложавая и цветущая, хорошо сложенная, видом своим скорее походила на молодую девушку, чем на тридцатилетнюю вдову, пережившую тяжелое горе.

Она шла по шканцам уверенной, легкой походкой, рядом с немолодой, пестро одетой,

молодившейся полной консульшей, приветливо отвечая на почтительные поклоны офицеров и, казалось, не замечая любопытных, полных восхищения взглядов, устремленных на нее.

Капитан, с обычной рыцарской галантностью моряков, встретивший дам у трапа с обнаженной головой и любезно их приветствовавший, красный и вспотевший, торжественно улыбаясь, как на удачном адмиральском смотре, выступал около дам, стараясь подтянуть живот, с горделиво покровительственным видом индейского петуха. По дороге пришлось останавливаться, чтобы представить пассажирке старшего офицера, доктора, батюшку и несколько офицеров, находившихся близко.

Степан Дмитриевич молодецки шаркнул своей толстой короткой ножкой, снимая фуражку и наклоня белобрысую голову с зачесанной лысиной, и выразил свое удовольствие встретить соотечественницу “под небом Америки”. Затем старший офицер метнул в пассажирку победоносным взглядом своих маленьких, уже замаслившихся глазок

и, выпятив грудь и закручивая усы, подошел к консульше. Чистенький, свеженький, кругленький доктор немножко сконфузился, и все его пухлое лицо расплылось в улыбку. Он проговорил “очень приятно” и дал место молодому батюшке, иеромонаху Евгению, который почему-то вдруг покраснел и напряженно топтался на месте, пока капитан не вывел отца Евгения из неловкого замешательства, подозвав двух гардемарин, которых и представил пассажирке. И эти двое молодых людей и еще представленные офицеры безмолвно кланялись, но их лица и без слов говорили, что молодым морякам очень приятно было познакомиться с такой хорошенькой пассажиркой. Один только милорд, в качестве “холодного англичанина”, изобразил на своем выбритом лице самое ледяное равнодушие (“дескать, ты меня несколько не интересуешь!”) и, отойдя от пассажирки, нарочно даже зевнул с видом скучающего джентльмена и отвел в сторону взгляд, хотя ему и очень хотелось посмотреть на пассажирку, в которой он не находил “ни-че-го о-со-бен-ного”.

Пассажирка с милой приветливостью про-

тягивала свою маленькую ручку в черной лайке и крепко, “по-английски”, пожимала всем руки, видимо довольная, что находится среди соотечественников, на плавучем оторванном уголке далекой родины, и слышит вокруг русскую речь. Она ласковыми глазами взглядывала на матросов, рассыпавшихся по палубе, и сказала, обращаясь к капитану:

— Мне просто не верится, что я в России. Если бы вы знали, как я рада, капитан, и как я благодарна, что вы меня взяли!

И радостная улыбка озаряла ее хорошенькое личико, делая его еще обворожительнее.

— Помилуйте, — любезно ответил капитан, — я счастлив, что мог быть вам полезным и вообще... Только вы бы не соскучились, Вера Сергеевна, в море, а мы... мы... Мы с употребим с своей стороны все старания, чтобы вы не скучали...

— С такими любезными людьми разве можно скучать? И наконец, я восемь лет не видала русских, а я ведь русская, да еще из Москвы! — прибавила пассажирка.

— Сердце России! — с одушевлением произнес капитан. — А москвички, насколько я

встречал, премоилые, позволю себе заметить-с, дамы. И очень привлекательные! — прибавил с улыбкой капитан в виде тонкого, по его мнению, комплимента.

— Вы бывали в Москве?

— Как же-с, имел это удовольствие. Она произвела на меня превосходное впечатление... Этот Кремль, радушие, сердечность! — не без горячности проговорил капитан и незаметно скользнул взглядом по белой, как сливки, хорошенькой шейке пассажирки.

— Ишь глазнапа запускает! — заметил кто-то вполголоса в кучке гардемарин, стоявших вблизи, и раздался сдержанный смех.

Вероятно, до капитана донеслось это замечание, потому что он вдруг повернул голову, метнув свирепый взор, нахохрился и, не распространяясь более о Москве, заговорил с консульшей.

Увидав Цветкова, отвешивавшего ей низкий поклон, пассажирка ласково кивнула ему головой, как знакомому, и сделала несколько шагов ему навстречу.

— Что же вы не приехали за мной, Владимир Алексеич, как обещали? — любезно

упрекнула она, протягивая просиявшему мичману руку.

— Нельзя было... Если б я только мог, Вера Сергеевна! — проговорил восторженно мичман, весь вспыхивая.

— Вас задержала служба?

— Какая служба! Просто капитан не пустил, — улыбаясь заметил Цветков, понижая голос.

— Не пустил? Почему не пустил?

— Это его тайна! — усмехнулся Цветков. — Впрочем, и Васенька вас отлично довез... Не правда ли?

— Какой Васенька?

— Летков... Мы все так зовем этого милого юношу, который приезжал за вами.

— Мы отлично доехали... Отлично! — повторила пассажирка и прибавила: — А с вами мы опять будем спорить, как вчера, лишь только познакомились... Я люблю таких спорщиков... Это напоминает мне молодые годы в Москве... Здесь так не спорят, и я давно так не спорила...

— Он отчаянный спорщик, Вера Сергеевна, — заметил капитан, подходя к Вере Серге-

евне.

— О, я знаю. Вчера уж мы поспорили, но, к сожалению, не докончили спора. Надеюсь, докончим и начнем новый? — промолвила, улыбаясь, Вера Сергеевна и отошла с капитаном, пожав руку окончательно влюбленному и счастливому мичману.

Сзади дам, поминутно останавливавшихся благодаря представлениям пассажирке офицеров, медленно подвигался консул, сухощавый, долговязый и серьезный финляндец, лет под пятьдесят, оживленно беседовавший по поводу каких-то счетов с ревизором клипера.

В это же время по другой стороне шканцев торопливо проходила, шурша накрахмаленными юбками и повиливая подолом, с опущенными вниз глазами, под перекрестными взглядами моряков, круглолицая, полнотелая, не лишенная миловидности горничная, щеголевато одетая, в серой тальме и яркой шляпке, с мелкими вещами в руках, сопровождаемая молодым вестовым Цветкова, Егоркой, который нес маленький баул и две картонки с особенной осторожностью, словно боясь раздавить их в своих грубых рабочих руках.

— Сюда пожалуйста, мамзель, — шепнул Егорка, щеголяя перед этой “мамзелистой” горничной своим умением обращаться с дамами, — по этому трапу спускайтесь, — указал он головой на спуск в капитанскую каюту. И, спускаясь вслед за ней по трапу, Егорка обстоятельно любовался широким, полным затылком горничной и ее внушительными формами.

У каюты, перед буфетной, их встретил Иван Чижиков, капитанский вестовой, разбитной, молодой чернявый матрос с плутоватыми глазами, с медной сережкой в ухе, с коротко остриженной головой, франтовато одетый в белой собственной рубахе с широким воротом, открывавшим крепкую загорелую шею, и в нитяных перчатках, надетых к парадному обеду.

— С приездом! — бойко и весело проговорил он, улыбаясь глазами и пропуская горничную.

Он принял от Егорки баул и картонки и, подмигнув ему глазом, вошел в каюту.

— И как же у вас здесь хо-ро-шо! — протянула горничная слегка певучим московским

говорком, оглядывая большую, полную света, падающего сверху через люк, капитанскую каюту, с диванами вокруг бортов, с блестяще сервированным столом, сиявшим белизной скатерти, хрусталем и цветами.

— Для вас постарались, — любезно ответил Чижиков, взглядывая на краснощекое лицо горничной, полное и веселое, с добродушными серыми большими глазами, напоминавшее лицо деревенской здоровой, пригожей тридцатилетней бабы, — потому как теперича каюта в вашем полном распоряжении. Жить здесь будете... А как позволите величать вас?

— Аннушкой.

— А ежели по батюшке?

— Егоровной.

— Так доложу вам, Анна Егоровна, вещи эти я пока в спальне сложу... Пожалуйста их мне, — говорил вестовой, принимая из рук Аннушки мелкие вещи. Он поставил их вместе с картонками за альков и продолжал: — Потом разместите, как будет угодно... А как придет катер с багажом, вы только прикажите, что — куда, мы все как следует поставим и

принайтовим. Места у нас много... А что не надо, в ахтерлюк спустим. Не угодно ли, Анна Егоровна, полюбопытствовать, какая, значит, будет ваша квартира?

— Покажите, пожалуйста... А вас как звать?

— Иван Матвеев Чижиков. Вологодские будем.

— А я московская крестьянка, Иван Матвеевич.

— Но только вы, можно сказать, вовсе на американскую даму похожи, Анна Егоровна, — подпустил комплимент вестовой.

Аннушка усмехнулась с довольным видом и сказала:

— Здесь все женщины по-дамски ходят, что барыни, что прислуга...

А Чижиков продолжал:

— Вот эта самая каюта вроде быдто и зал, и кабинет, и столовая. Тут капитан занимается: лепорты пишет в Россию, как, мол, по морям ходим, на карте путь со штурманом прокладывают — куда и как, значит, плыть клиперу по наблюдению солнца секстаном. Тут и обедает. У нас завсегда два офицера к обеду при-

глашаются... Здесь вот спальня, — объяснил вестовой, раздвигая шелковый альков, открывший небольшую, освещенную бортовым иллюминатором каюту, застланную пушистым ковром по полу и увешанную коврами по борту, к которому прилежала койка, с роскошными шифоньеркой, комодом, умывальником и зеркалом, — ваша генеральша будет поживать.

— Генеральша? Моя барыня точно генеральская дочь, но муж ейный был американский анжинер... Здесь-то и совсем почти генералов нет, не то что в России.

— А сказывали: американская генеральша!.. Тут вот рядом сбоку ванная, ежели пожелаете, примерно, скупаться по жаркости...

— Славно у вас... Ровно как в городе...

— Нельзя... командирское звание! — не без достоинства заметил Чижииков. — А вот для вас каютка, Анна Егоровна, — продолжал вестовой, уводя Аннушку из капитанской каюты и указывая на крошечную каютку, сейчас за дверью, у трапа. — Тесновато маленько, Анна Егоровна. Мне-то, по матросскому моему званию, привычное дело, а вам, при ва-

шей, можно сказать, деликатности, не такое бы следовало помещение.

Аннушка ласково усмехнулась, взглядывая на обходительного, любезного вестового, говорившего ей комплименты, и заметила, смеясь:

— Не барыня — потеснюсь. Всяко жили. А вы со своим барином как же?

— А мы наверху, в рубке. Надо, говорит, дамам уважение сделать и “постеснироваться”. Он у нас, Анна Егоровна, — конфиденциально сообщил Чижиков, улыбаясь своими плутоватыми глазами, — даром что человек старый и грузный, а очень почитает женский пол. С мужчинами, ежели по службе, прямо сказать, зубастая щука, а с вашей, примерно, сестрой — вроде бытто теленка... А я, значит, Анна Егоровна, назначен к вам, буду приходить сюда справлять свою часть: накрыть на стол, подавать кушать, все как следует.

— Я вам помогать стану, — добродушно промолвила Аннушка.

И, войдя в каютку, она сняла шляпку и стала было снимать тальму, как вестовой помог ей, подхватил плащ и повесил на крючок.

— Благодарствуйте!

Аннушка оправила свое праздничное яркое шерстяное платье, обрисовывавшее крупные формы ее полной высокой фигуры, и медленно, с серьезным лицом, стала креститься на маленький образок, висевший в углу.

Затем она присела на койку и радостно сказала:

— И как же я рада, что господь привел возвращаться в Россию да со своими встретиться. Совсем на чужой стороне стосковалась. Кабы не жаль было барыни, кажется давно бы убежала.

— Все в Америке жили? — спрашивал Чижиков, стоя у порога и покручивая усы, и в то же время чутко прислушивающийся, не идет ли капитан с гостями.

— В Америке.

— Сторона, сказывают, вольная.

— Вольная-то вольная, и живут люди чисто, и обращение учтивое, особливо с нашей сестрой, а все чужая сторона... К своим так и тянет... Батюшка с матушкой да сестры с братом в деревне живут, и повидать их жду не дождусь... Как приедем, сейчас отпрошусь у

барыни в деревню погостить.

— А барыня, значит, добрая?..

— Добрая... и меня на волю отпустила и исколотала за батюшку у своего брата... Отец-то ее помер...

— Нонче и всем скоро воля выйдет, — заметил Чижиков и спросил: — А вы, Анна Егоровна, по-ихнему говорить умеете?

— Научилась. Восемь лет здесь жили.

— Ишь ты! Поди трудно научиться?

— Вовсе нетрудно.

— Однако пока прощайте, Анна Егоровна. Господа, кажется, идут! А я вам сюда подам... маленький столик накрою. Какого вина прикажете: красного или белого?

— Все равно... Вы не беспокойтесь, Иван Матвеич.

— Очень даже лестно для вас услужить, а не то что беспокойство, Анна Егоровна! — проговорил Чижиков, бросая выразительный взгляд на Аннушку, и перешел в буфетную — напротив.

А Аннушка, закрыв дверь, достала из своего мешка зеркальце, гребень и щетку и, повесив зеркальце на гвоздик, погляделась в него

и, оправляя свои темно-русые густые волосы, усмехнулась не без кокетства.

Через несколько минут гости с капитаном спустились в каюту.

— Вот-с ваше помещение, Вера Сергеевна, — проговорил капитан. — Вы здесь полная хозяйка.

Пассажирка восхищалась каютой и благодарила.

Капитан помог дамам снять их жакетки, принял шляпки и вообще был необыкновенно любезен. Когда ровно к шести часам собрались приглашенные к обеду: старший офицер, доктор, милорд и гардемарин Васенька, — капитан повел дам к маленькому столу, уставленному закусками, и пригласил их “по русскому обычаю, закусить”.

— Вера Сергеевна... Чего прикажете? Вы, чай, отвыкли от наших порядков... Позвольте вам икры положить! Русская икорка!

За обедом он сидел между дамами и угощал их с хлебосольным радушием. Он любил покушать, и стол и вина у него были хорошие. Сам капитан за обедом занимал больше пассажирку, к вящей досаде Степана Дмитри-

евича, который принужден был занимать консульшу и только мог глазами пожирать хорошенькую блондинку. Доктор и ел за обе щеки, и посматривал на пассажирку, и рассказал какой-то забавный анекдот. Милорд, напустивший на себя бесстрастность, солидно беседовал с консулом и подливал ему вина. Один лишь юный Васенька все время застенчиво краснел, не раскрывая рта и не смея поднять глаз на Веру Сергеевну. Он только изредка украдкой взглядывал на нее и, встретив раз ее взгляд, зарделся, как маков цвет, уставился в тарелку и больше не решался смотреть.

К концу обеда, когда подали жаркое с брусничным вареньем, вывезенным еще из России, и Чижиков розлил шампанское, капитан, совсем размягший от еды, вина и присутствия хорошенькой женщины, предложил тост за милых дам и потом отдельно за пассажирку. При этом он произнес короткий спич, в котором пожелал, чтобы плавание было благополучное и чтобы Вера Сергеевна, вернувшись в Россию, не поминала его лихом.

Все чокались друг с другом. Веселый и

ставший необыкновенно добродушным капитан, глаза которого с начала обеда приняли несколько телячье выражение, предложил, обращаясь к пассажирке, тост за Москву и, еще раз чокаясь, неожиданно спросил:

— Вас укачивает, Вера Сергеевна?

— Кажется, нет, — отвечала она, ставя бокал, из которого чуть-чуть хлебнула.

— Ну, тогда вам нечего бояться! — радостно воскликнул капитан, втайне довольный, что пассажирка не будет “лежать в лежку” и, следовательно, ее можно будет видеть. — Вы ведь уже окрещены... Раз переплывали океан... Ей-богу, он не страшен, совсем не страшен... Да и наш “Забияка” доброе судно! — любовно прибавил капитан. — Отлично штормы выдерживает. Помните, Степан Дмитрич, как нас весной трепануло у Сангарского пролива [8]?

— Изрядный был штормяга! — подтвердил и старший офицер.

— А “Забияке” хоть бы что... Только катер потеряли...

Эти воспоминания, приятные для моряков, не особенно были приятны для пассажирки,

но она ничем не выдала охватившего ее беспокойства и с внимательной улыбкой слушала, когда капитан стал рассказывать в подробностях об этом “дьявольском шторме”.

Старший офицер посматривал украдкой на пассажирку взглядом, полным восторга и “прованского масла”, и в уме решил, что за ней следует серьезно “приударить”. Она вполне отвечала его эстетическим требованиям. И в голове его, не совсем свежей после бордо, портера, хереса, портвейна и шампанского, смутно бродили даже смелые мысли насчет того, что недурно бы предложить ей руку и сердце. Она будет жена хоть куда. И хороша собой, и такая аппетитная, черт возьми, и приобрела житейский опыт — не какая-нибудь молодая девчонка, — и, видимо, с умом бабочка... Надо покороче ее узнать и... куда ни шло... Она, конечно, не откажет! — горделиво подумал Степан Дмитриевич, совершенно забывая в эту минуту о четырех отказах, уже благополучно скушанных им и все-таки не поколебавших в нем уверенности в своей неотразимости.

Заметил ли он, что рассказ капитана о

шторме не особенно приятно действует на пассажирку, или просто хотел приободрить ее, но только он проговорил по окончании рассказа, обращаясь к пассажирке:

— Я уверен, что наше плавание будет превосходным... и никаких штормов не будет.

— Отчего это? — спросила пассажирка.

— Вы принесете нам счастье, Вера Сергеевна...

И доктор сказал что-то утешительное. И капитан заметил:

— Теперь время самое благоприятное... Какие штормы!

Пассажирка, тронутая этим общим вниманием, по-видимому самым бескорыстным, улыбалась в ответ, и ее лицо, казалось, говорило: “Какие простые и добрые люди эти моряки!”

А пока шел обед, Цветков малодушно нет-нет да и заглядывал через открытый, задернутый флагом люк капитанской каюты и любовался блондинкою, чувствуя себя на седьмом небе при воспоминании об ее любезной приветливости.

И он ходил по палубе, досадуя, что обед тя-

нется так долго, и мечтал. Мечты уносили его далеко. Он грезил, что “Забияка” вдруг потерпит крушение. Все погибнут. И только она да он спасутся на необитаемом острове.

“Фу-ты, какой я болван!” — говорил он себе не без некоторого основания, соображая нелепость мечтаний, и смеялся.

Он так и не говорил в этот вечер с пассажиркой.

Консул и консульша, несмотря на искренние пожелания Цветкова, чтобы они поскорей убрались к черту, засиделись долго, пили чай и уехали с клипера поздно вечером. Вера Сергеевна вышла их проводить и затем гуляла по палубе. Но Цветкову нельзя было подойти. Этот “толстопузый” не отходил от нее, за что был изруган Цветковым самым беспощадным образом, несмотря на свое капитанское звание. Через четверть часа пассажирка простилась с капитаном и ушла в каюту.

— Видно, нагнал скучищу, старый черт! — промолвил Цветков не без злорадства и продолжал гулять по палубе.

Но она не выходила.

В полночь все, кроме вахтенных, спали.

Только мичман не спал в своей каюте и без сюртука строчил стихи, да вестовой Чижи-ков, койка которого висела рядом с койкой Егорки, вполголоса рассказывал соседу о красоте Аннушки, и оба они по временам издавали восторженные восклицания.

На следующее утро, с рассветом, клипер снялся с якоря, вышел под парами из бухты, прошел пролив, поставил все паруса и с попутным теплым ветром понесся в открытый океан.

К восьми часам, к подъему флага, все офицеры вышли приодетые, веселые и как-то особенно настроенные. Присутствие пассажирки, видимо, подтянуло всех. Даже дедушка был в новом сюртуке.

А когда около полудня чудного дня с высоко поднявшимся солнцем, сверкавшим с бирюзовой выси, на палубе клипера показалась свежая, как вешний день, пассажирка, все офицеры один за другим поднялись на палубу.

Любезное предсказание старшего офицера Степана Дмитриевича о том, что пассажирка принесет счастье, по-видимому оправдалось.

Прошло уже десять дней, как мы ушли из Сан-Франциско, и все это время плавание наше действительно было на редкость прелестное. Погода стояла отличная: теплая, без угнетающей жары. Солнце ни разу не закрывалось черными, мрачно нависшими тучами или клочковатыми, бешено несущимися, зловещими облаками и ослепительное, заливая ярким блеском океан, весело сверкало с далекой высоты чудного бирюзового неба, по которому двигались, гонимые воздушным течением, молочные перистые облачка необыкновенно изящных очертаний и прихотливых узоров, точно выведенных волшебным резцом. По временам они нагоняли друг друга и, соединяясь, представляли собой белоснежные фантастические города с церквями, узорчатыми башнями, деревьями, медленно плывущими по ярко-голубой лазури.

Далекий горизонт, куда ни взглянешь, чист. Не видно на нем этого маленького издали, темно-серого пятна, быстро вырастающего, по мере своего приближения, в гигантский столб дождевой шквалистой тучи, яростно несущейся среди внезапно наступившего затишья на судно, благоразумно поспешившее убрать свои паруса, чтоб не быть уничтоженным грозным шквалом.

И сам загадочный и таинственный дедушка-океан, вея приятной прохладой и выдыхая аромат озона, был в самом милостивом и благодушном настроении, как бы стараясь оправдать свою далеко не справедливую кличку “Тихого”. С ласковым рокотом, неторопливо и плавно катил он могучие светло-синие волны, бережно и покойно, словно добрый пестун, покачивая на своей мощной, коварной груди маленький трехмачтовый клипер.

И “Забияка”, стройный и красивый, похожий на птицу с распущенными гигантскими белыми крыльями, летел под всеми парусами, имея лиселя с правой, с ровным попутным мягким норд-вестом, узлов по девяти в

час, рассекая с тихим гулом воду своим острым водорезом и оставляя за кормой след в виде серебристой ленты.

Светло, ясно и радостно кругом!

— Эка благодать! — говорят весело матросы, радуясь и спокойным вахтам, и спокойным ночам, не прерываемым окриками боцмана, призывающего “всех наверх”. — Так-то, братцы, плавать еще куда ни шло... Кабы за- всегда да так!

— Ишь, шельма, как высоко забрался...
Гляди-кось! — восклицает кто-то.

И матросы беспечно глядят вверх, где в прозрачном воздухе реет альбатрос.

— Рыбки наелся и отдыхает.

— Вон парусок-от белеет... Должно, купец...

— Купец и есть... Гличанин какой, а то из голландцев. Привышны они к морю... Им что на сухом пути, что на воде — все едино.

— Не то, что наш брат, российский...

— И пречудесно, господа! Ах, как пречудесно! — восклицает на баке фельдшер Завитков среди маленького кружка баковой аристократии: двух боцманов, подшкипера, баталера и

писаря. — Теперь бы только сюда Анну Егоровну... так окончательно один восторг... Как вы об этом полагаете, Артемий Нилыч? — обращается фельдшер к боцману Матвееву.

— Ну ее к чертовой... тетеньке! Из-за их только неприятности! — недовольно промолвил боцман, которому еще сегодня утром попало от старшего офицера за ругань, раздававшуюся на баке во время обычной утренней уборки клипера, когда пассажирки спали и боцман, рассчитывая на их крепкий сон, дал полную волю своей артистической импровизации.

— А вы, Артемий Нилыч, уже потерпите, пока пассажирки. Что делать! — успокаивал боцмана фельдшер. — И напрасно вы насчет Анны Егоровны так выражаетесь. Очень она славная девица... Такая белая, рассыпчатая... Одно слово: бельфамистая... И разговор у нее деликатный... Сейчас видно, что видала людей...

— С ней подлец Чижиков шуры да муры. Все около нее липнет в каюте по своей должности. Ловок он, бестия, насчет девок. В Кронштадте двух горничных облестил! — не без

зависти заметил рябой и некрасивый баталер.

— Станет она с вестовым заниматься! — воскликнул фельдшер, обижаясь за горничную. — Она не какая-нибудь кронштадтская чумичка, а понимает обращение, с кем и как... недаром в загранице жила. Какая ей компания вестовой!.. На нее офицеры и гардемарины зарятся... Так и сторожат, как она в палубе покажется, а вы: вестовой! Вчера вечером... смеху было, — продолжал Завитков и рассмеялся.

— А что?

— Поджидал это Анну Егоровну артиллерист Евграф Иваныч в палубе, все выглядывал из своей каюты: не идет ли? Думал: никто не видит, а я притулился за машиной и жду... От фонаря вижу, как он, весь красный, глаза пялит. Ладно. Прошло так минут с пять времени, спускается Аннушка с трапа с чайником — за кипятком к камбузу, идет это тихонько, — а он ей рукой машет. “Не хотите ли, говорит, Аннушка, на мою каюту полюбопытствовать. Отличная у меня каюта. Я вам, говорит, разные вещицы покажу...”

— Ишь, дьявол... “каюту”! Рожа-то у него вроде швабры, а туда же! — воскликнул с веселым смехом боцман Матвеев.

— То-то мне и смешно было.

— Что ж она, пошла? — нетерпеливо раздались голоса.

— Не пошла... “Очень, говорит, вам мерси, но в каюту не согласна”. Так Евграф Иваныч только заржал от отчаянности и захлопнул двери.

Веселый смех над пожилым артиллерийским офицером разразился среди кучки. Все, видимо, были рады неудачному исходу его авантюры.

А фельдшер продолжал:

— Идет, значит, Анна Егоровна дальше, как к ней откуда ни возьмись гардемарин Касаткин... Тоже, вихрастый, ее сторожил.

— Пройти, черти, не дают!

— “Ах, какая вы, Аннушка, хорошенькая. Позвольте вас поцеловать, употребиться случаем”. Это он тишком говорит, а сам, не будь дурак, облапил ее и пробует, значит, из какой-такой материи у нее кофточка...

— Ах шельмец!

— Она вырваться. “Оставьте, говорит, молодой человек”. А Касаткин ей: “Простите, говорит, очень вы мне нравитесь”, и чмок, чмок, — два раза в шею поцеловал, да и был таков...

— Ишь ты... отчаянный какой! — с сочувственным смехом промолвил Матвеев... — Будет ему от капитана, если Аннушка да пожалуется своей барыне... Он его отчешет да на сальник (салинг) на высидку пошлет...

— И поделом: не приставай! — заметил фельдшер.

— А тебе небось завидно?.. Однако пора и к водке свистать! Выноси-ка, баталер, водку! — сказал Матвеев, и аристократы бака разошлись.

Иван Иванович с секстаном в руке уже ловит “полдень”. Его помощник, молодой штурманский прапорщик, отсчитывает на часах секунды.

— Стоп! — произносит старый штурман и машет рукой. В колокол бьют “рынду”, и все проверяют часы.

А сам дедушка в новом люстриновом сюр-

тучке, в сбитой на затылок фуражке, торопливо спускается к себе в каюту, чтобы закончить утренние вычисления. Через пять минут все готово. Полуденные широта и долгота получены. Мы точно знаем, в какой точке земного шара находимся и сколько прошли за сутки миль.

Суточное плавание отличное. Все довольны, начиная с капитана и кончая Васенькой, что мы “отмахали” более двухсот миль, что погода отличная, ветер попутный, и что, наконец, хорошенькая пассажирка часто показывается на палубе, что она тут, свежая, красивая и приветливая, один вид которой доставляет морякам удовольствие и как-то подтягивает их.

И сам дедушка, в первые дни ворчавший, что на клипере пассажирка, приглядевшись к ней, значительно смягчился. Правда, он ждал всяческих историй в кают-компании из-за нее (недаром Цветков уже ходил как полоумный, Степан Дмитриевич ежедневно душился, а капитан придирался без всякой причины к молодым офицерам), но находил ее вообще “молодцом дамой”. Ее не укачивает, дер-

жит она себя просто и умно, без всяких, как он выражался, “цирлих-манирлихов” и “не разводит антимионии”, как вообще дамы, изображающие из себя “разварную лососину”.

Вследствие такого отношения к пассажирке, Иван Иванович каждый день докладывал ей о пройденном расстоянии.

И сегодня, выйдя из капитанской рубки, где проверил хронометры, он подошел к пассажирке. Она сидела на юте, под тентом, в лонг-шезе, одетая в легкое серое платье, с морской шапочкой на белокурой головке. Офицеры завтракали. Она была одна и читала книгу. Красивый блондин Бакланов, стоявший на вахте, шагал по мостику, поглядывая на молодую женщину, но спуститься и заговорить с ней не смел. Того и гляди появится капитан — и тогда разнос. Уж было этих историй!

— С добрым утром, Вера Сергеевна!

— Здравствуйте, Иван Иванович! — радостно ответила она дедушке, протягивая маленькую, изящную белую ручку с обручальным кольцом на третьем пальце и бирюзой

на крохотном мизинце, которую он почти-тительно пожал в своей морщинистой широкой лапе.

Ей очень нравился этот славный добряк Иван Иванович, простой и бесхитростный, относившийся к ней сердечно и ласково, без ухаживаний, и она всегда рада была, когда он подходил к ней сообщать о пройденном расстоянии.

— Сколько, Иван Иванович, прошли... Двести или больше?

— Двести двадцать две мильки-с пробежали, Вера Сергевна... Отлично идем... Погода — прелесть, чтоб не сглазить! И подлинно вы нам счастье принесли, Вера Сергевна...

— И вы комплименты стали говорить, добрейший Иван Иванович?.. С каких это пор? Ведь вы, кажется, не любите дам на корабле? — прибавила с лукавой улыбкой молодая женщина.

Дедушка несколько смутился.

— А уж вам разболтали наши молодцы? Экие сороки! Что ж, скрывать не стану-с, Вера Сергевна... Говорил в этом роде, точно говорил-с.

— Почему же не любите? Или вы вообще женщин не любите? — допрашивала, смеясь, молодая женщина.

Старый штурман запротестовал самым решительным образом против такого обвинения.

— Что вы, что вы, Вера Сергевна! За что мне не любить дам? У меня в Кронштадте и свои дорогие дамы остались, жена и две дочери, — с чувством подчеркнул старик, — так как же мне не любить дам-с? Напротив, я их очень почитаю и уважаю, особенно таких, позволю откровенно сказать, таких милых и достойных, как вы, Вера Сергевна! — прибавил дедушка с рыцарской любезностью.

И, пуская затем в ход все свое красноречие, Иван Иванович “забрал ходу” и продолжал:

— Но дамская сфера, так сказать, не море, а берег-с. На твердой земле, в полной безопасности, — вот-с ее назначение, а не на палубе судна... Мало ли что случается в море? Вот теперь, слава тебе господи, все благополучно... Вы сидите себе спокойно, вас не укачивает... да и какая это качка! А как вдруг засвежеет, как начнет трепать-с! Нам, морякам, ничего.

Поставили штормовые паруса и жди, пока штормяга отойдет, а даме и боязливо, и неприятно, и докучно-с. Ну и жалко, очень даже жалко в таком случае даму. Она ведь создание деликатное... нервы чувствительные... И лежит, бедненькая... “Ох да ох”... Смотреть больно... В этом смысле я и говорил... Поверьте, милая барыня... И, наконец, дама даме рознь...

Разумеется, пассажирка “поверила” и поблагодарила Ивана Ивановича за доброе о себе мнение, и дедушка, поболтав еще несколько минут, отошел от молодой женщины, вполне уверенный, что “заговорил ей зубы” и что она не знает истинной причины его нелюбви к даме на корабле.

Не говорить же ей, в самом деле, что все наши ребята, как коты по весне, ошалелые бегают. Сама может догадаться... Видит, как за ней увиваются все, начиная с капитана!..

“А прехорошенькая! Недаром всех с ума свела. Прехорошенькая дамочка! И вся такая бяляночка!” — усмехнулся про себя Иван Иванович.

И старый штурман, вообще степенный и

строгих правил человек, которого никогда не видали на берегу в обществе “космополиток дам” или туземных разноцветных красавиц, неожиданно смутился и сердито крякнул, точно прочищая горло. Целомудрие его было оскорблено. Глупые мысли насчет пассажирки полезли в его старую голову. Он покраснел и нахмурился.

— Э-э-э-э. И вы, дедушка, того?.. Иду я из ларзета и вижу, — заговорил доктор, хитро улыбаясь маленькими глазками.

Дедушка совсем смутился и, досадуя на свое смущение, с напускным равнодушием спросил:

— Что ж вы такого видели, Антон Васильич?

— И вы начали приударять за пассажиркой, а?

Иван Иванович испуганно повернул голову. Доктор говорил так громко, что пассажирка могла услышать. По счастью, ее не было.

— Скрылась, скрылась... Сию минуту с капитаном ушла завтракать... Отравит он ей завтрак своими старыми анекдотами... Ишь ведь как вы любезничали с барынькой... хе-

хе-хе! Ловко! Представляется женоненавистником, а сам...

— Да полно вам врать вздор, Антон Васильич. Это мичманам да разве таким саврасам, как вы, впору любезничать, а не мне... Я просто сказал ей, сколько мы прошли миль. Только и разговору было.

— Рассказывайте, рассказывайте, Иван Иваныч... Видел я... Ведь пассажирочка-то преаппетитная... И ручки, и ножки, и бюстик... Небось, дедушка, и вы молодость вспомнили... Глазенапа-то запускали на белоснежную шейку?.. Признавайтесь...

— Тьфу, бесстыдник... А еще женатый! Вот вернемся, жене скажу!

— А что ж, говорите... Грех разве любоваться на чужой товар?

— Ну вас... Отстаньте! — сердито проговорил старый штурман и поспешно спустился вниз, слыша сзади веселый мелкий смех циника доктора.

“И впрямь саврас!” — мысленно обругал доктора возмущенный дедушка и, сердитый, молча садится в кают-компанию завтракать, предварительно выпив объемистую рюмку

джина.

Все, исключая механика да батюшки, торопятся окончить завтрак, чтобы выйти наверх и поболтать с пассажиркой, если она выйдет на палубу и не будет читать, желая избавиться от слишком большой внимательности господ моряков. Старший офицер, надушенный так, что пахло на всю каюту, торжественно сосредоточен. За эти десять дней он решительно пришел к заключению, что ему следует сделать попытку: предложить руку и сердце. Он, во всяком случае, “партия недурная”. Человек с положением в некотором роде, офицер на виду. Через год вернется, наверное сделают командиром. Глупо было бы отказать! Он все настойчивее думал об этом решительном шаге, нередко восхвалял пассажирке прелести семейного счастья и только затруднялся: устно или письменно сообщить ей о своем великодушном намерении.

“Положим, — рассуждал он, мечтая о браке с хорошенькой вдовушкой, — она покамест не только не делает никаких авансов, но даже довольно равнодушно слушает его и подчас даже подсмеивается, но, быть может, это

одна женская дипломатия! Знаем мы женщин, слава богу! — самодовольно усмехнулся при этом Степан Дмитриевич. — Правда, она со всеми одинаково любезна и приветлива, всегда умеет как-то ловко отклонить слишком восторженные комплименты (Степан Дмитриевич это на себе испытал), но не тонкое ли это кокетство?.. Она в некотором роде дьяволенок, эта вдовушка. С ней надо ухаживать остро... И не для отвода ли глаз она часто спорит с этим влюбленным мальчишкой, легкомысленным Цветковым, играет с ним в четыре руки и заставляет его читать ей вслух. Ведь не может же ей нравиться такая взбалмошная таранта! А он-то, чего доброго, воображает, что победил пассажирку. Вот-то попал пальцем в небо!” — заносчиво думал Степан Дмитриевич и, припомнив это, не без досадливого чувства взглянул теперь на курчавого красивого мичмана, который рассеянно, видимо чем-то взволнованный, лениво ковырял вилкой.

В свою очередь, и влюбленный мичман про себя посмеивался над ухаживанием Степана Дмитриевича и полагал, кажется, не без

некоторого основания, что человек, у которого “рожа вроде медной кастрюльки”, “толстые ноги колесом” и вдобавок воображающий себя красивым мужчиной, — едва ли может обратить на себя какое-нибудь внимание такой умницы и такой изящной женщины, как Вера Сергеевна. Его раздражал и возмущал не этот “брам-брас” Степан Дмитриевич, а “хлыщ” и “нахал” Бакланов. Вот кто терзал до глубины души ревнивого мичмана! Как он на нее нахально смотрит своими большими голубыми глазами, ска-а-а-тина! Как он смеет так смотреть на нее, мер-за-вец! Он от всей души ненавидит этого спокойного, самоуверенного, красивого блондина, особенно со вчерашнего вечера, когда Бакланов пел в кают-компании романсы и пассажирка долго слушала и хвалила его “бархатный баритон”. А он обрадовался — давай еще и еще... И все больше: t'амо, t'амо [9]... подлец эдакий!

Бедный мичман рвал и метал. Он похудел и побледнел за эти дни от бессонных ночей, посвящая их неистовому строчению самых лирических стихов, и по временам так свирепо на всех глядел, точно сейчас готов в ссору.

Вдобавок и капитан к нему придирался — то и дело разносил...

С товарищем и приятелем милордом у них стали тоже натянутые отношения. Еще бы! Цедил, цедил: “ничего осо-бен-ного”, делал вид, что не обращает на пассажирку никакого внимания, а теперь не отходит от нее, старается острить... думает: умно... Болван эдакий... А еще жених... Клялся, что любит по гроб свою невесту, а сам... Рыжая каналья!

Нет, все они циники, все с подлейшей стороны смотрят на женщину и не понимают, что можно любить благоговейно, бескорыстно, не бывши любимым... Один только он любит ее святой, чистой любовью.

— Ты что это, сэра, в виде рыцаря печального образа? Или капитан призывал в рубку? Разнес опять? — спросил, процеживая лениво слова, милорд.

— А тебе что? — резко спросил мичман, и в его черных глазах блеснул огонек.

— Ровнешенько ничего.

— Так чего ты спрашиваешь?

— Простите-с, не буду! — иронически промолвил милорд и благоразумно умолк.

Дедушка беспокожно взглянул на Цветкова и покачал головой, словно бы хотел сказать: “Начинается!”

Взглянул и Степан Дмитриевич на мрачную физиономию обыкновенно веселого и жизнерадостного мичмана и, чтобы отвлечь его от милорда, заговорил о чем-то с ним.

Завтрак быстро окончен. Все уходит наверх. В кают-компании остаются только дедушка, допивающий свой стакан красного вина, отец Евгений, механик в новом сюртуке и Цветков. Наконец батюшка и механик ушли отдохнуть, и старый штурман с молодым человеком остались одни.

VI

Отхлебывая небольшими глотками вино, дедушка украдкой участливо взглядывал на мрачно задумавшегося Цветкова и, наконец, мягко спросил:

— Что вы, батенька, надулись, как мышь на крупу? Или в самом деле серьезные неприятности с капитаном?

— Ну его... капитана, черт с ним! Пусть придирается.

— Так в чем же дело?

— Не могу я, дедушка, терпеть более этого скотства, вот в чем дело, если вы хотите знать! — порывисто воскликнул, встряхивая своей кудрявой головой, мичман, видимо обрадовавшийся случаю излить свое негодование перед единственным на клипере человеком, не ухаживавшим за пассажиркой.

— Какого скотства? — переспросил Иван Иванович, удивленно поднимая свои седые густые брови.

— Понимаете... этого безобразно-подлого отношения к такой святой женщине, как Вера Сергевна! — возбужденно отвечал Цветков

и тотчас же вспыхнул.

— Гм... Вот оно что, — протянул старый штурман.

— Особенно этот нахал Бакланов... Честное слово, я запалю ему, наконец, в морду... Пусть вызывает на дуэль... Будем стреляться... Очень рад.

— Что вы, что вы, Владимир Алексеич? Как можно даже говорить такие слова! — строго заметил дедушка и укоризненно покачал головой. — Мы вдали от отечества, от родных и близких, нас небольшая горсточка, которая должна избегать ссор, чтобы вместо плавания не было каторги, а вы захотели дуэлей?! Уж вы извините меня, голубчик, а я прямо скажу: нехорошо, очень нехорошо-с! Каково убить товарища или самому быть застреленным, причинив тяжкое горе родным, — подумали вы об этом? Я вот сорок лет во флоте служу, а не слыхал о дуэлях на судах, слава богу. Ишь тоже что выдумал: дуэль! Не ждал я от вас этого, Владимир Алексеич... Нет, батенька, выкиньте скорее этот вздор из головы, послушайте искренне любящего вас старика... И с чего, наконец, вы окрысились на Бакланова?

Что такого он вам сделал?

— Да как же, рассудите сами... Вы, дедушка, можете быть беспристрастны, так как вам Вера Сергевна не нравится... я хочу сказать, не нравится как женщина, и вы... вы... Одним словом, вы не смотрите на нее, как другие, с гадкими мыслями...

— Ну, положим, не смотрю. Уж куда мне, — вымолвил смущенно старый штурман.

— А скотина Бакланов... Обратите внимание, как подло он на нее глядит... Разве можно так оскорблять порядочную женщину и разве не следует проучить подобного нахала?

— Только-то и всего? И из-за этого вы собираетесь... в морду и сочинить дуэль?! Ну не сумасшедший ли вы человек! — с улыбкой проговорил дедушка. — Приревновали, значит?

— Какое я имею право ревновать? Тут не ревность...

— Разве для ревнивых писан закон? За что же вы собираетесь извести Бакланова, как не из-за ревности?.. Обезумели вы совсем, Владимир Алексеич, вот что я вам скажу. Видно, втюрились в пассажирку совсем с сапога-

ми? — ласково прибавил старый штурман.

— То-то и есть, с сапогами, дедушка, — с виноватым видом проговорил мичман.

— Ну и... очень скверно... Впрочем, это ваше дело, но только зачем же истории заводить? Плавали мы себе смирно и дружно два года, никаких, слава богу, историй не было, и вдруг... на тебе! Нет, милый Владимир Алексеич, это не того... не ладно. Вы — человек добрый и не станете разводить ссор... И с чего вы взяли, что Бакланов уж так подло, как вы говорите, глядит на пассажирку? Просто любитесь, как и все другие... Всем лестно полюбоваться... А если даже и смотрит, как лисица на виноград, ну и бог с ним. Пусть. Только глаза просмотрит! — засмеялся дедушка. — Не бойтесь, Вера Сергевна умная, она понимает людей, знает, кто чего стоит, и все видит, хоть и не все говорит, потому что нельзя же... дама-с... И выходит, что и ревнуете вы впустую. Так-то. Успокойтесь-ка да отоспитесь хорошенько, а то совсем вы, бедняга, осунулись...

Эти слова добряка Ивана Иваныча несколько успокоили влюбленного мичмана

и устыдили его. Он дал слово оставить пока Бакланова в покое и не затевать ссор.

— Так он, по-вашему, не нравится Вере Сергевне? — допрашивал мичман.

— Нисколько, — утешал старик.

— Однако... вчера, когда он пел...

— И пусть себе поет...

Старый штурман допил стакан и вдруг спросил:

— И, скажите на милость, что за надобность такая влюбляться вам, батенька, а? На какого рожна?

Цветков невольно улыбнулся при этих словах и не знал, что ответить.

— Вернемся в Россию, тогда валяйте себе на здоровье, а в море — не резон, только одно расстройство... Что хорошего? Вы вот совсем какой-то шалый стали. К чему эта канитель? Не обалдели же вы до того, чтобы бацнуть предложение: “Так, мол, и так”... Вера Сергевна, положим, дама достойная, но старше вас, да и вам еще рано жениться...

— Что, дедушка, года... Не в этом дело...

— А в чем же?

— Она не пойдет за меня! — грустно вы-

молвил Цветков...

— А вы уж готовы руку и сердце? — с досадой спросил Иван Иванович.

— Я жизнь отдам за нее, дедушка! — восторженно прошептал мичман.

— И довольно глупо. Очень даже глупо-с. Жизнь впереди пригодится, а не то, что отдавать ее из-за бабы... Не раскисайте, Владимир Алексеич, будьте молодцом... Ну ее, пассажирку... Встретите целую уйму других и снова влюбитесь...

— Нет, шабаш! Такой другой не встречу!

И лицо Цветкова и тон его голоса дышали такой грустью, что старый штурман озабоченно взглянул на молодого человека и сердито проворчал:

— Вы, никак, того... всерьез?.. Эх, говорил я, что не след брать бабу на судно! Вот один и свихнулся. Того и гляди какую-нибудь штуку выкинет...

— И выкину, — загадочно протянул мичман.

— И... срам-с... Возьмите все рифы, а то врежетесь со всего ходу на мель... Экий вы отчаянный... Какую же вы собираетесь штуку вы-

кинуть... Уж не бежать ли за пассажиркой в Россию... Под суд угодно попасть, что ли?..

Интимный разговор оборвался. В кают-компанию, один за другим, стали входить офицеры, напрасно поджидавшие пассажирку на палубе. После завтрака она не выходила наверх. Как кажется, нескончаемая любезность моряков начинала немножко утомлять вдовушку.

VII

Прелестные были дни, но едва ли не лучше были эти быстро, почти без сумерек, опускавшиеся над клипером ласковые южные ночи с мириадами звезд, ярко мигающих с высокого темного купола. Нежной прохладой дышат эти чудные ночи, навевая невольные грезы и наполняя душу безотчетным восторгом.

Двенадцатый час на исходе. Жизнь на клипере затихла. Команда и большая часть офицеров спит. Вахтенные матросы полудремлиют у своих снастей или чуть слышно, словно боясь нарушить тишину этой волшебной ночи, “лясничают”, вспоминая, по большей части, про “свои места” на далекой родине. Тихо кругом. Океан едва ворчит, словно в дремоте, да легонько поскрипывает, покачиваясь, клипер и летит во мраке, рассыпая вокруг алмазные брызги фосфорической воды.

Пробило восемь склянок, и Цветков торопливо взбежал на мостик, вступая на вахту с полуночи до четырех часов. Он сменял милорда. Бывшие приятели при сдаче вахты не

обменялись, как бывало прежде, ни словом, ни шуткой. Цветков ревновал и к милорду, а милорд, в свою очередь, злился, что пассажирка, по-видимому, оживленнее и охотнее болтает с Цветковым, чем с ним, оставаясь совершенно равнодушной и к его английской складке, и к его разочарованному виду, и недостаточно оценивая его остроты и цитаты из Байрона. Он ли не старался, забыв даже позорно свою невесту, понравиться хорошенькой пассажирке? Он ломал голову, придумывая что-нибудь поумнее, вычитывал из книг разные словечки, в надежде произвести эффект и показаться оригинальным, напускал на себя демонизм, еще отчаяннее корчил англичанина и... ноль внимания. Молодая женщина словно нарочно не замечала его оригинальности, раздражая адское самолюбие милорда до последней степени.

Цветков обошел клипер, поверил часовых и зашагал по мостику взволнованный и с таким отважным видом, будто бы он принял какое-нибудь важное решение. Он то и дело бросал тревожные взгляды через освещенный люк капитанской каюты. Пассажирка

еще не спала. Склонившись над книгой, сидела она за большим столом, и влюбленный мичман мог только видеть ее густую золотистую косу. Выйдет ли она перед отходом ко сну подышать этой дивной ночью? Этот вопрос казался мичману самым важным вопросом в подлунной. О, если бы она только вышла! Он готов был бы сидеть целый год без папирос и не съезжать на берег. “Выйди, выйди!” — беззвучно шептали его губы, и он обещал себе самому, в случае ее выхода, дать Егорке пять долларов. Если она появится наверху, он поговорит с ней наедине, без помехи. Она должна, наконец, узнать, как беспредельна и свята его любовь. До сих пор он тщательно скрывал свои чувства (так ему казалось, хотя его обожание к пассажирке было жирным шрифтом напечатано на его лице) и не осмеливался намекнуть о них. Только раз, дня два тому назад, он не удержался от искушения прочитать ей свое стихотворение и то сказал, что оно написано год тому назад. Молодая женщина внимательно выслушала и похвалила, не догадываясь, конечно, кто этот “ангел”, наделенный всеми физическими и

душевными совершенствами. Однако попросила на память этот листок и привела этим мичмана в счастливое состояние. Теперь он скрывать своих чувств более не может. Он весь переполнен ими, как цилиндр паром, и должен объясниться, сказать ей... Что сказать — он и сам в эту минуту не знал. Он только всем своим существом чувствовал и безграничную прелесть этой чудной ночи, и красоту мерцающих звезд, и жгучую истому о каком-то нечеловеческом блаженстве, и неудержимую потребность излить здесь, среди океана, при звездах, свою чистую любовь, и готовность немедленно броситься в морскую пучину, если она скажет своим чудным грудным голосом: “Бросьтесь!”. Только не проснулся бы этот “пузатый черт” капитан и не подстерег бы его разговаривающим на вахте с пассажиркой.

Он взглянул на рубку. Темно. Верно, спит старая бестия, отравляющая своими любезностями жизнь пассажирки. Тоже, сороковая бочка, лебезит на старости лет, зафрантил. Думает, что его разговоры очень интересны, и всегда, как нарочно, лезет, как только увидит,

что он разговаривает с Верой Сергеевной. Так бы и треснул его!

Да... это первая его настоящая любовь, а все прежнее — мимолетные увлечения, — размышляет молодой мичман, шагая по мосту. “И какая же, однако, я был свинья!” — шепчет он, когда в его легкомысленной голове одно за другим проносятся эти бесчисленные “увлечения”, как бы для того, чтобы оттенить чистоту, силу и прочность настоящей любви.

Кузина Нюта... Влюблен был месяц. Думал стреляться, но кончил тем, что был шафером у нее на свадьбе. И что хорошего нашел он тогда в этой девчонке? Теперь он решительно не понимал... Тридцатилетняя супруга кронштадтского чиновника Софрончикова. “Фу, гадость!” — неблагоприятно отплюнулся мичман, не без стыда вспоминая, как он сжимал в объятиях рыхлую, дебелую, с подведенными глазами, госпожу Софрончикову, которая при каждом свидании стыдливо вскрикивала: “Ах, что я делаю!” — и томно требовала клятв в вечной любви. И он не только давал их с небрежной расточительностью, но еще и

поднес ей очень трогательные стихи, в которых сравнивал госпожу Софрончикову с “пышной розой”, тогда как по совести ее следовало бы сравнить с откормленной индюшкой. Ровно два месяца клялся он в любви “пышной розе”, пока не поехал в день получения жалованья, то есть 20-го числа, в Петербург и не встретил на Гороховой черноглазой брюнетки с картонкой в руках, швеи из магазина, Кати... Эта была, напротив, “лилия”, бледная и худенькая, и если бы не случайная и довольно щекотливая встреча у Кати с каким-то румяным писарьком, то... кто знает, сколько времени он относил бы Кате жалованье и деньги, занятые под “небольшие проценты”... Писарь “открыл ему глаза” и заставил его в тот же день идти обедать к адмиралу Налимову, у которого была молодая и довольно пригожая жена с румяными щечками, мятежно вздымавшейся грудью и беспокойными серыми глазами, точно отыскивающими что-то. Глаза эти ласково смотрели на молодого кудрявого мичмана, особенно ласково, когда старик адмирал пошел после обеда вздремнуть, и дня через три легкомысленный

мичман уже был “готов”. Опять стихи, на этот раз: “Постыла жизнь без пылкой страсти”, и внезапное негодование против добряка адмирала, влюбленного в свою жену, который, вдруг оказалось, “губил чужую молодость”. Через месяц совместного чтения и целования пухлой ручки (на дальнейшую “подлость” он не решался из уважения к адмиралу), великодушное предложение развестись с адмиралом и выйти замуж за него. Вечная любовь и сорок три рубля с полтиной в месяц жалованья к ее услугам. Не угодно ли?

Как ни спокойно бегали глазки адмиральши и как ни нравился ей этот красивый, жизнерадостный мичман, тем не менее она выпучила на него глаза, как на человека, только что вырвавшегося из сумасшедшего дома и не понимающего возможности не только целования рук, но и дальнейшего счастья, без катастроф и потрясения основ. Обидный, насмешливый хохот был единственным красноречивым ответом на “дерзкие слова”. Результатом отказа адмиральши осуществить столь остроумный план разжалованья ее в мичманши было полное граждан-

ских чувств стихотворение по адресу молодой адмиральши, закончившее почти ежедневные, в течение трех месяцев, посещения Налимовых, у которых он, несмотря на любовь, за обе щеки уплетал вкусные адмиральские обеды. А там приспело назначение в дальнее плавание и отпуск перед ним в деревню.

Мисс Дженни в Лондоне... Это было что-то уж совсем дикое, начавшееся знакомством в Holborn Casino и едва не кончившееся очень плохо... Он чуть было не застрял в Лондоне, поселясь с Дженни и просаживая на нее вторую и последнюю тысячу — весь бабушкин подарок на дорогу. Две целых недели пропал он в Лондоне, не думая возвращаться на клипер, стоявший в Гревзенде [10], и если бы не товарищи, каким-то чудом разыскавшие его в громадном городе и уговорившие ехать на клипер вместо того чтоб попасть под суд за самовольную отлучку и лишиться плавания, быть бы бычку на веревочке. Но она была так чертовски хороша, эта Дженни с голубыми глазами, и так уверяла его в своей безграничной любви, получая от него банкноты, что он

в те дни не прочь был навсегда остаться в Англии хотя бы чистильщиком сапог.

В беспутной голове каявшегося мичмана промелькнули затем: и продавщица перчаток в Шербурге, и барышня из баррума [11] в Капштадте, на мысе Доброй Надежды, и японка Танасари в Хакодате, и креолка, жена испанского доктора, в Маниле, и роскошная каначка в Гонолулу, и, наконец, маленькая русская заседательша в Камчатке, которым он на разных языках говорил комплименты и если не всегда доходил до объяснения, то только потому, что клипер уходил из порта, где влюбчивый мичман воспламенялся, как порох.

“Все это была ерунда... все это свинство!” — еще раз повторил мичман, бросая умиленный взгляд через капитанский люк. Только теперь он понял любовь и чувствует, что значит полюбить на веки вечные... Ему ничего не надо, он не мечтает даже о счастье благоговейно поцеловать эту маленькую изящную ручку. Пусть только она позволит ему сказать, как он предан ей, вот и все, чего он хочет... Пусть только позволит себя лю-

бить, и он по возвращении в Россию непременно поселится в том городе, где будет жить Вера Сергеевна. Господи, что это за женщина?! Сравнить ее с кем-нибудь из прежних увлечений — одна профанация...

VIII

— Вперед смотреть! — крикнул он вполголоса, вглядываясь в окружающую темноту и вспоминая, что он на вахте.

— Есть, смотрим! — раздался обычный ответ часовых с бака.

Раздался один удар колокола. Прошла склянка (полчаса).

“Она не выйдет”, — с грустью подумал мичман, посматривая на выход из капитанской каюты, и вдруг замер...

Маленькая грациозная фигурка пассажирки, словно волшебная тень, показалась на палубе и поднялась на мостик.

В первую секунду мичман оцепенел от восторга и без движения стоял у компаса. Все мысли разом выскочили у него из головы.

А она приблизилась к нему совсем близко, так что свет от компаса освещал ее хорошенькое личико, и спросила своим бархатным голосом:

— Я не помешаю вам, Владимир Алексеич, если несколько минут постою на мостике? Капитан ведь спит? — лукаво прибавила она.

Она помешает?! Может же прийти такая нелепая мысль в голову?

И вместо ответа мичман глядел на нее, как очарованный.

— Вы... помешать? — наконец, прошептал он.

Должно быть, в этих двух словах было вложено слишком много экспрессии, потому что пассажирка с некоторой тревогой взглянула на молодого мичмана и, отходя на конец мостика, проговорила:

— Здесь так хорошо... И что за славная ночь!

Она любовалась этой ночью, глядела на звездное небо, на воду и молчала.

Молчал и мичман, не спуская глаз с пассажирки. Так прошло несколько минут...

— Спокойной вахты, Владимир Алексеевич! — вдруг проговорила пассажирка, делая движение, чтоб уходить.

— Как, вы уже уходите?.. Нет, ради бога... еще несколько минут... Я должен вам кое-что сказать, — испуганным и взволнованным шепотом проговорил он, подойдя к краю мостика, где стояла пассажирка.

— Что такое? — спросила она нарочно беззаботно-веселым голосом, словно не догадываясь, что может сказать этот влюбленный мичман, и имея доброе намерение этим тоном несколько отрезвить его пыл. Что Цветков влюблен в нее, она заметила, конечно, раньше всех, но его обожание было такое чистое и непритязательное, и сам он был такой милый, добрый юноша, что пассажирка невольно и сама расположилась к нему и держала себя с ним с дружеской простотой, не придавая его увлечению серьезного значения.

— Простите, Вера Сергеевна... я, конечно, не смею спрашивать...

— И все-таки хотите спросить? — смеясь, перебила пассажирка. — Ну, спрашивайте. Заранее прощаю.

— Вам... вам нравится Бакланов? — выговорил он не без трагической нотки в дрогнувшем голосе.

Пассажирка усмехнулась. Ужасно смешные эти господа моряки! Не далее как на днях такой же вопрос относительно Цветкова предложил ей Бакланов, а еще раньше и ка-

питан, как будто шутя, допрашивал: кто из офицеров ей более всего нравится, и был, по видимому, очень доволен, когда она дипломатически ответила, что “все вообще и никто в особенности”.

Но она не удержалась от кокетливого желания подразнить своего поклонника и имела неосторожность, в свою очередь, спросить, засмеявшись тихим смехом:

— А вам зачем это знать?

Зачем ему знать? Ему?!

И мичмана, что называется, прорвало. Откуда только брались эти горячие и искренние, порывистые и нежные слова любви, которую он благоговейно кидал к ногам божества, не осмеливаясь, разумеется, даже и мечтать о каком-нибудь вознаграждении. Только бы Вера Сергеевна не сердилась за дерзость его, недостойного мичмана Цветкова, полюбить такую “святую” женщину и милостиво бы разрешила ему любить ее до конца своих дней. Бескорыстие влюбленного мичмана было воистину феноменальное.

Надо думать, что и эта дивная теплая ночь, и тихо рокотавший океан, и яркие звезды, ме-

ланхолически мигавшие сверху, и, наконец, ревность к Бакланову значительно способствовали красноречию вдохновенной импровизации. Так, казалось и ему самому, он никогда в жизни не говорил. И если в эту минуту он не мог сравнить своего признания с признаньями госпоже Софрончиковой и другим, то потому только, что он их совершенно забыл.

Мраморная вдова, слышавшая-таки, особенно после смерти мужа, лаконически деловые признания янки и умевшая различать звуки страсти, несмотря на свое относительное хладнокровие и свято чтимую память о муже, невольно поддавалась обаянию этой безумно-страстной песни любви среди океана, на узком мостике покачивающегося клипера. И эта песнь вместе с теплым дуновением ночи словно ласкала ее, проникая к самому сердцу и напоминая, что она еще молода и что жить хочется...

— Послушайте... я рассержусь, если вы еще раз будете говорить такие глупости, — строго проговорила она, хотя совсем не сердилась. — Вы немножко увлеклись и вообразили уж бог

знает что... Скоро мы расстанемся, и вы также скоро забудете про свою блажь... Так лучше останемся добрыми приятелями... Вы ведь знаете, что я к вам расположена...

— Так вы не верите, что я вас люблю? Не верите?.. Хотите, я сейчас докажу?

Какая-то нахлынувшая волна чувств вдруг захлестнула его, наполнив душу отчаянной отвагой. Жизнь в эту минуту, казалось, не имела ни малейшей цены. И он, весь охваченный сумасшедшим желанием доказать свою любовь, занес ногу за поручни.

— Повторите еще раз, что не верите, и я буду в море!..

Голос Цветкова звучал восторженной решимостью фанатика.

И он и пассажирка — оба в одно и то же мгновение почувствовали, что, повтори она слова сомнения, он без колебания бросится в океан.

— Верю, верю! — прошептала она, охваченная ужасом.

И, схватывая его руку, ласково и нежно, взволнованным голосом прибавила:

— Боже! Какой вы сумасшедший!

Она невольно восхищалась этой безумной, чисто славянской выходкой, испытывая в то же время эгоистически-приятное чувство женщины, из-за которой человек готов совершить невозможную глупость. А легкомысленный сумасброд, счастливый, что теперь не может быть сомнения в его любви, задержал на мгновение похолодевшую ручку пассажирки в своей руке и быстро поцеловал ее в темноте.

И опять спросил:

— Ответьте же, Вера Сергеевна. Нравится вам Бакланов?

— С чего вы это взяли? Нет.

— И милорд не нравится?

— Вот нашли...

— Значит, никто? — радостно воскликнул мичман.

— Никто особенно, но вы — больше других, недаром мы с вами приятели. И останемся, если вы не станете больше делать глупостей... Я очень тронута вашей привязанностью и ценю ее, но, кроме дружбы, ничем не могу отплатить вам. Простите, милый Владимир Алексеич, и не сердитесь... Постарайтесь

забыть меня... И что бы могла я дать вам, — с оттенком грусти прибавила мраморная вдова. — Во мне уж нет свежести чувства... Мне тридцать лет, а вы... вы совсем юный.

Сердиться на нее? Да он бесконечно счастлив ее дружбой и больше ему ничего не надо. Разве он не понимает, что она его полюбить не может... Но он надеется, что она по крайней мере не порвет с ним знакомства и позволит ему писать ей и, быть может, напишет ему сама... А чтобы забыть ее...

Он только усмехнулся.

— Очень рада буду получить от вас весточку и отвечу вам... А пока, чтобы все было по-старому, не правда ли? Вы больше не будете говорить мне о вашей... привязанности... Обещаете?

— Вам так это... неприятно? — спросил он.

— Не все ли вам равно, почему я вас прошу об этом... Так обещаете? — шепнула мраморная вдова, и — показалось Цветкову — в голосе ее опять звучала грустная нотка.

Он обещал, и пассажирка ушла, позволив ему еще раз поцеловать свою руку.

Оставшись один, Цветков полной грудью

крикнул:

— Вперед смотреть!

И этим радостным криком он, казалось, возвещал океану о своем счастье.

Свет погас в капитанской каюте, а пассажирка долго еще не спала. Эта песнь любви все еще звучала в ее ушах, и образ кудрявого мичмана несколько времени стоял перед ее глазами.

— Какие влюбчивые, однако, эти моряки! — шепнула она и засмеялась.

IX

Прошла еще неделя. Погода, по-прежнему, стояла великолепная, но пассажирка стала реже показываться наверху, особенно после заката солнца, когда наступили роскошные южные ночи, располагающие к излишним. Она также, видимо, избегала разговоров наедине. Исключение составлял дедушка Иван Иванович.

Для молодой женщины не было, разумеется, секретом, что почти все офицеры неравнодушны к ней и готовы перессориться из-за малейшего предпочтения, в виде улыбки или ласкового слова, сказанного ею кому-нибудь из ее ревнивых поклонников. Приходилось всегда быть настороже, испытывая первый раз в жизни неудобство положения хорошенькой женщины, и притом одной, среди этих “добрых” влюбчивых моряков, которые уж чересчур удостоивали ее своим любезным вниманием и ни на минуту не оставляли без своего общества, лишь только она появлялась на палубе. Каждый старался чем-нибудь услужить ей. Каждый встречал ее восторженным

комплиментом или красноречивым взглядом.

“И как скоро воспламеняются моряки и как быстро делают признания!” — удивлялась пассажирка, убедившись в этом не на одном только примере сумасшедшего мичмана.

Через два дня после его страстной песни любви, совсем неожиданно, и тоже во время ночной вахты, признался ей в своих чувствах и лейтенант Бакланов. Говорил он, правда, не столь пылко и красноречиво, как Цветков, и для доказательства своей любви не предлагал бултыхнуться в океан, но зато со стремительной откровенностью предложил хорошенькой вдове руку и сердце. Не выждав еще принципиального согласия, он диктовал следующие условия: свадьба немедленно после возвращения клипера в Россию, а теперь они будут женихом и невестой (соблазнительная роль жениха, кажется, особенно привлекала лейтенанта и едва ли не была главным мотивом предложения). У него есть состояние, правда небольшое, но жить можно не нуждаясь. Он будет любящим и преданным мужем. Полюбил он ее с первой же встречи и так го-

рячо никогда и никого не любил.

— Судьба моя в ваших руках! — не без эффекта закончил лейтенант трагическим шепотом.

Все свое признание он произнес необыкновенно быстро, очевидно боясь, что кто-нибудь помешает интимной беседе на самом интересном месте, и тогда жди случая, чтобы закончить начатое с такой отвагой. И то уж Цветков раз прошмыгнул мимо них.

В ожидании ответа Бакланов глядел на пассажирку таким восхищенно-жадным взглядом своих голубых, несколько наглых, глаз, точно собирался тотчас же съесть ее, лишь только она благосклонно примет его предложение.

Благодаря темноте вечера пассажирка не видала этого взгляда. Не видал и Бакланов насмешливой улыбки в ее глазах и только услышал ее спокойно-иронический ответ:

— Совсем по-американски. Я не думала, что моряки так торопливо решают и свою и чужую судьбу.

Она поблагодарила за честь, ничем ею не вызванную, прибавив, что, к сожалению, не

может разделить его столь неожиданно проявившегося чувства и вообще не собирается пока выходить замуж.

Этот ответ, звучавший насмешливым тоном, вызвал самолюбивое раздражение кронштадтского сердцеда, избалованного успехами, и главным образом против Цветкова, которого Бакланов считал своим счастливым соперником. Недаром эти последние дни он необыкновенно весел и ходит гоголем!

По-видимому, Бакланов безропотно покорился отказу мраморной вдовы. Он извинился за смелость признания, вызванного его безумной любовью. Разумеется, он более не осмелится надоедать ей и просит похоронить этот разговор. Пусть о нем ни душа не знает...

— О, будьте на этот счет спокойны! — прервала его молодая женщина.

— А я останусь с разбитым сердцем надолго... Надолго, Вера Сергеевна, — грустно прибавил он.

— Надеюсь, не более недели?

— Вы смеетесь?.. Что ж, смейтесь!.. Но, поверьте, я не похож на других, которые влюбляются в каждом порте, — пустил он намек

по адресу товарища и, низко поклонившись, отошел от пассажирки и поднялся на мостик.

Молодая женщина поспешила спуститься к себе, боясь новых излиятий с чьей-нибудь стороны, и спугнула капитанского вестового Чижикова, который стоял у раскрытой двери Аннушкиной каютки и вполголоса рассказывал своей внимательной слушательнице о том, какие бывают бури, а сам, улыбаясь глазами, поглядывал на румяную, пышную Аннушку, занятую шитьем, и взором, полным ласки, говорил, казалось, совсем о другом.

— Так больше ничего не потребуется? — спросил он Аннушку, пропуская пассажирку... — Спокойной ночи, барыня! — поклонился он.

— Прощайте, — промолвила молодая женщина, невольно улыбнувшись этой маленькой хитрости вестового.

“И тут влюбленная атмосфера!” — подумала она.

Х

Чижииков находился уже с Аннушкой на короткой приятельской ноге, словно они давным-давно были знакомы. Это сближение произошло как-то само собой, незаметно. Он помогал и услуживал Аннушке, охотно и весело исполняя ее обязанности: чистил и барынины и ее ботинки, вытряхивал рано утром платья, стирал их белье. “Уж вы не беспокойтесь, Анна Егоровна, — говорил он, — все справим как следует. По матросскому нашему положению мы все должны справлять”. И, ловкий и расторопный, Чижииков действительно все справлял не хуже заправской горничной. Он и шить умел, и знал, как выводить пятна, и башмаки починил Аннушке, — словом был парень на все руки, и все у него в руках спорилось и выходило хорошо. При этом он был всегда весел и никогда не жаловался на работу, хотя работы у него были полны руки. Урывая свободную минуту, он перекидывался из буфетной с Аннушкой словом и по вечерам “лясничал” с ней, но не говорил никаких нежностей, а только улыбался глаза-

ми и как-то без слов любви, не торопясь и спокойно, вкрадывался в ее душу, “облецивал” с тонким искусством заправского знатока женского сердца, и чрез неделю после знакомства, несмотря на “мамзелистость” Аннушки, уже позволил себе с нею флирт. То, будто шутя, ущипнет ее повыше локтя и спросит: “Больно?”, то схватит ее руку и, скрестив пальцы с пальцами, предложит попробовать силу, то близко подсядет к Аннушке и, словно невзначай, поцелует в розоватый затылок. А сам, с серьезно-невинным видом, точно чмокал не он, продолжает рассказывать о матросском житье-бытье или про свою сторону и только ласково улыбается глазами, уставленными на Аннушку. И она, отвергшая немало ухаживаний господ офицеров, как-то покорно и весело отдавалась флирту, как будто не замечая ни шутливых трепков, ни щипков, ни поцелуев молодого, пригожего черноглазого матроса, который казался ей куда милее и понятнее американских ухаживателей. Она только после поцелуев становилась румянее, ее добрые серые большие глаза ярче блестели, и лицо делалось серьезнее и вниматель-

нее, точно она вся поглощена была тем, что рассказывал ей Чижиков. С тем же невинным видом Чижиков увеличивал мало-помалу область флирта и, не делая никаких деклараций, продолжал эту “песню без слов”, по-прежнему услуживая и помогая Аннушке с ретивым усердием беспритязательного человека. Он не переступал известных границ постепенности, чтобы не особенно компрометировать Аннушку в ее собственных глазах, так что флирт этот мог казаться невинной шалостью. Раз только Чижиков слишком увлекся, и, внезапно прервав разговор о починке барыниных ботинок, облапил Аннушку и впился в ее губы, имея, по-видимому, серьезное намерение целовать без конца (недаром он незаметно защелкнул в каюте задвижку). Аннушка в первое мгновение поддалась этой ласке, но вслед за тем сурово оттолкнула дерзкого и, всплыв, съездила его по уху.

Но Чижиков и тут не потерялся и даже не стал просить прощения. Вмиг очутившись по ту сторону двери, он как ни в чем не бывало спросил, продолжая прерванный разговор:

— Так какое будет ваше приказание на-

счет барыниных ботинков, Анна Егоровна? Прикажете починить?

Первую минуту Аннушка молчала и казалась очень сердитой.

— Что ж, почини, — наконец промолвила она строгим тоном, не глядя на Чижикова и оправляя сбившиеся волосы.

Однако любопытство заставило ее бросить взгляд на вестового, и невольная улыбка скользнула по ее заалевшему лицу при виде этой невинно-серьезной физиономии, точно ни в чем не повинной.

— Так пожалуйста, Анна Егоровна. Ужо завтра принесу, — проговорил деловым тоном Чижиков. — Пуговики есть у вас?

— И лукавый же ты парень, Ванюшка! — протянула нараспев Аннушка, говоря ему давно уже попросту на “ты”, и, отдавая ботинки, усмехнулась.

Сохраняя на своем лице все тот же степенно-невинный вид, Чижиков опять только ласково улыбнулся глазами и, пожелав спокойной ночи, ушел, чувствуя, что Аннушка его простила.

В жилой палубе, где в подвешенных кой-

как уже спали подвахтенные матросы (спать наверху не позволяли, вследствие присутствия на клипере пассажирки), встретил его Егорка, собиравшийся было ложиться, и любопытно спросил:

— Ну, что, братец, как с ей? Забираешь ходу?

— Как есть здря. Давно бросил! — отвечал Чижиков.

— Ну?

— Горда больно пассажиркина мамзель. От матроса морду воротит...

— Ишь ты, а я, брат, думал...

— То-то, пустое, — перебил Чижиков, который, как истый джентльмен, хранил в абсолютной тайне свои успехи даже от друга и земляка Егорки.

— Однако дело есть! — прибавил он и, сходя в свой сундучок за инструментом, прилачился у фонаря, чтобы приняться за работу.

— Ты это что же? Слава богу, намотался за день, пора бы и спать. К спеху, что ли? — допрашивал Егорка, разглядывая крошечные дамские ботинки. — Нам разве на палец надеть! — усмехнулся он.

— Обещал. Сама пассажирка просила, — сочинил Чижиков.

— Да у ей башмаков много.

— Эти самые любит. Хорошо пришлись, говорит.

— Небось заплатит?

— А то как же? Наверно, наградит, как в Гонконт придем. Намедни вот не в зачет доллар дала, — опять соврал Чижиков, чтобы не выдать тайны, для кого это он так старается.

— А мой мичман, Володя-то наш, вчерась мне пять долларовей отвалил, — радостно сообщил Егорка и, полураздетый, в одной рубашке, присел на корточках около Чижикова.

— За что?

— Поди ж... Я и сам подивился... И так добр — завсегда награждает, а тут... Встал это он, братец ты мой, после ночной вахты такой веселый... смеется... и велел, значит, достать из “шинерки” [12] деньги... А у его и всего-то двадцать долларей капиталу... Подаю. Отсчитал пять долларей. “Получай, говорит, Егорка, а достальные назад положи!”

— Щедровит, — промолвил Чижиков и прибавил: — И льстится же он на пассажир-

ку, я тебе скажу, Егорка. Ах, как льстится!.. Намедни пришел: тары, бары, по-французскому... лямур, — это и я разобрал, — а потом вынул из кармана стишок и давай ей читать. Складно так выходило, Егорка. “Ваши, говорит, очи не дают спать ночи”. “Вы, говорит, что андел распрекрасны, щеки, говорит, что розы, а ручки у вас атласны”. Все, братец ты мой, перебрал по порядку: и насчет ног, и насчет носа, и насчет ейных волос... И так, шельма, складно. “Я, говорит, из-за вас ума решусь и беспременно утоплюсь”... Это он пужал, значит.

— Ишь ты! И выдумает же! — восхитился Егорка. — Что ж пассажирка?

— Усмехнулась и стишок на память взяла... Только вряд у их что-нибудь выйдет, — авторитетно заметил Чижиков.

— Небось мой мичман ловок! — заступился за своего бари́на Егорка.

— Отважности нет... Только языком болтает... Этим в скорости не облестишь.

— Нельзя, брат, генеральская дочь...

— Генеральская не генеральская, а все живой человек. Только она, должно быть, ка-

кая-то порченная! — неожиданно прибавил Чижиков.

— Порченная?

— Да как же, Егорка. Женщина молодая, сочная, всем взяла, а три года вдовее, и, — сказывала Аннушка, — в Америке женихи были, а не шла. И опять же здесь: все на нее льстятся, а она ровно статуя бесчувственный. Видно, в ей кровь не играет. Есть, братец, такие. Не любят мужчин...

— Может, только виду не хочет оказать и себя соблюдает, а ежели, братец ты мой, честь честью, замуж — очень даже будет согласна... Видит — здесь ей мужа не найти, потому как в плавании все, да и господа не из богатых, ну и... форсит.

— Разве что... Но ты, коли баба, хоть хвостом поверти...

— Не вертит? — рассмеялся Егорка.

— То-то и есть. И глаз у ей рыбий... Поверь, Егорка, испортили барыню в Америке этой самой.

— А кто ее знает?.. У господ другое положение. Они там с мичманом моим по-французскому говорят, может и договорятся... Он тоже

ловок насчет этого... И стишок умеет, и из себя молодец, и башковат... Вот в Гонконт придем, окажется... Однако я спать пошел!..

И Егорка, поднявшись с корточек, направился к своей койке.

“Как следует нос. Форменный нос!” — несколько раз повторял про себя Бакланов, нервно шагая с одного края мостика на другой. Самолюбие его было уязвлено, и в нем закипала злость и на себя за то, что он так “опрохвостился”, и на пассажирку за то, что она с насмешливой шуткой отнеслась к его предложению и даже не сказала обычных в таком случае слов о дружбе, и на Цветкова за то, что этот “смазливый болван” слишком много о себе воображает.

“Мальчишка!” — со злобой подумал Бакланов, стараясь отыскать в “мальчишке” самые дурные стороны. Он и легкомыслен, и беспутен, и вообще пустельга, и в денежных делах неаккуратен. По уши в долгах. “До сих пор двадцати долларов не отдает”, — припомнил Бакланов, решившись завтра же их потребовать с него. “Не особенно проникательна и она, если верит такому мальчишке!.. Не в мужья же она его прочит, кокетничая с ним... Нечего сказать, основательный был бы муж... Одна потеха!.. А если этот “мерзавец” и вдруг

имеет успех?..”

При этой мысли у Бакланова явилось такое сильное желание перервать “мерзавцу” горло, что он, остановившись, стиснул руками поручни, словно вместо поручней было несчастное горло мичмана...

— Пос-мот-рим! — прошептал он и вдруг грозно крикнул на дремавшего сигнальщика: — Ты что дрыхнешь, каналья, а?..

А чудная ночь словно нарочно дразнит своим нежным дыханием, волнуя воображение давно не бывшего на берегу моряка далеко не идеальными мечтаниями, в которых предпочтительную роль играла, разумеется, эта соблазнительная вдова в виде его невесты. То-то вышел бы эффект, и сколько было бы зависти в кают-компании, если бы он официально объявил себя женихом пассажирки! Он все свободное время проводил бы с нею наедине, у нее в каюте, черт возьми, и по праву без конца целовал бы эти маленькие с ямками ручки, сливочную шейку, алые губки. Он бы...

Неожиданное появление на шканцах толстой фигуры капитана в белом кителе верну-

ло лейтенанта Бакланова к действительности. Он тревожно огляделся вокруг.

Тяжело переваливаясь и подсапывая носом, капитан поднялся на мостик, посмотрел в компас, зорко осмотрел горизонт и поднял голову, взглядывая на паруса.

— Лиселя полощат, а вы и не видите-с! — резко выпалил капитан.

Действительно, к стыду Бакланова, лиселя с правой позорно “полоскали”.

— Только сейчас ветер зашел.

— Убрать-с!.. И попрошу вас, господин лейтенант Бакланов, на вахте не заниматься болтовней с пассажиркой, — тихо, очевидно сдерживаясь, но с тем же раздражением продолжал капитан. — Что у нас, военное судно или гостиная-с? На вахте разве офицеры разговаривают-с? Вы тут любезничали, а у вас лиселя шлепают-с... Могли бы и все паруса прошлепать. Прошу помнить-с, что вы вахтенный начальник, а не дамский кавалер-с!

Бакланов скомандовал убрать лиселя, а капитан стоял сердитый, взглядывая на освещенный люк каюты, в которой скрылась эта очаровательная вдовушка, лишившая и его,

точно в штормовую погоду, сна и будившая в нем, на старости лет, мечты о второй молодости и страстное желание мгновенно поху- деть.

Капитан постоял минут пять и скрылся в рубке. Раздевшись, он снова лег спать, но заснул не скоро. Черт знает что лезло в голову. И уборка лиселей не так его занимала, как прежде, и его Пашета, верная супруга и строгая дама, казалась ему теперь, при сравнении, такой некрасивой, сухопарой, белобрысой женщиной с своими жидкими косичками и такой злой, с вечными сценами из-за смазливых горничных...

Со времени появления на клипере пассажирки капитан вдруг стал чаще философствовать насчет семейной жизни и критически оценивать характер и наружность жены, хотя и был примерным отцом и добрым мужем; вместе с тем он до унижения лебезил перед пассажиркой. Все его любезности обращались очень мило в шутку, и он, наконец, заметил, что пассажирка не особенно любит быть с ним *tete a tete* [13]. Заметивши это, он, как истинно галантный рыцарь, перестал в

последнее время заходить к ней и встречался только за обедом да наверху, умильно поглядывая на нее и срывая свою досаду на молодых офицерах, к которым ревновал с слепой яростью влюбленного пожилого человека, сознающего тщету надежд.

Как ни старался капитан скрыть перед подчиненными свое малодушное ухаживание за пассажиркой, все видели, что он втюрился. Недаром же он и душится, и ходит в новом сюртуке, и наверху остерегается ругать матросов и давать подчас волю рукам. Все понимали причину его “разносов” и посмеивались втихомолку над “влюбленным боровом”, устраивая ему всяческие каверзы. Заметит вахтенный, что капитан спустился к пассажирке, как сейчас же шлет туда гардемарина доложить, что “судно на горизонте”, или что “ветер заходит”, или что “кит показался”. Словом, молодежь выискивала всевозможные предлоги, чтобы помешать капитану любезничать с пассажиркой. А когда она бывала наверху, ее тотчас же окружали, и капитан, сердито пыхтя, одиноко ходил по шканцам, с

досадой посматривая на молодежь и не смея подойти, чтоб не вызвать иронически-почтительных взглядов.

Капитан видел и чувствовал все эти каверзы и скрытые насмешки и, несмотря на свое добродушие, втайне бесновался. Особенно преследовал он Цветкова и раз даже во время парусного учения пригрозил отдать его под суд...

Все это заметила под конец и пассажирка и прекратила с Цветковым чтения вдвоем, тем более что при первом же чтении после признания он снова заговорил о любви, и хотя раньше и клялся, что ему, кроме святой дружбы, решительно ничего не надо, тем не менее так трогательно просил позволения “братски” поцеловать ее “святую” ручку и, получив разрешение, чрез минуту уж так умоляюще жалобно поглядывал на маленькие розовые пальчики, оправдывая поговорку: *l'appetit vient en mangeant* [14], — что мраморная вдова, ограждая мичмана и от капитанской мести, и от малодушных волнений, благоразумно решила вместе не читать и наедине не оставаться.

Но что она могла сделать против хитрости влюбленного человека, который сторожил каждый ее шаг и, случалось, улавливал мину-ту-другую, когда она была на палубе одна, и тогда... каких только тогда не расточал он ей восторженных комплиментов, про это только знала она одна, так как сам мичман находился в телячьем экстазе и едва ли помнил, что говорил. И все эти комплименты были так наивно-почтительны и искренни, а сам мичман так благоговейно-восторжен, что молодая женщина не могла и, признаться, не хотела сердиться. Уж очень мил был этот жизнерадостный пригожий мичман, и так щекотали ее нервы эти речи.

“Да и опасно, — уверяла себя мраморная вдова, — того и гляди этот сумасшедший выкинет снова что-нибудь невозможное. Пусть уж лучше говорит!”

Она и не подозревала, что он в самом деле уж подумывал выкинуть такую штуку, которая огорошит всех и окончательно убедит ее, и тогда, быть может, заставит ее откликнуться на его любовь (уж он теперь втайне мечтал о взаимности).

Но пока эта “штука” была его тайной.

С каждым днем положение бедной пассажирки становилось затруднительнее, и, несмотря на удобства плавания, она не без нетерпения ждала его конца. Эта атмосфера любви вокруг нее все сгущалась и сгущалась и грозила разразиться новыми излияниями и всеобщей ссорой моряков.

Милорд перестал цедить слова и однажды как-то очень значительно заговорил с пассажиркой о том, что жизнь, собственно говоря, глупая и пустая шутка. Бедняга Васенька, до сих пор не решавшийся говорить с пассажиркой, совсем проглядел на нее глаза и исхудал. Доктор что-то усиленно стал проповедовать о разводе и заботливо расспрашивал о здоровье, предлагая свои услуги исследовать ее. Капитан, как гимназист, сторожил пассажирку, соперничая в этом с Цветковым; долговязый ревизор мрачно вздыхал, а Бакланов, согласно обещанию, ходил “с разбитым сердцем”. При встречах с пассажиркой он или горько улыбался, или меланхолично расправлял свои роскошные длинные усы и пел в кают-компании, присаживаясь за пианино, са-

мые меланхолические романсы. Пусть слышит! Но, разумеется, от всех скрывал свою неудачу и в разговорах о пассажирке выказывал пренебрежительное равнодушие. Однако почти не говорил с Цветковым и по временам бросал на него такие свирепые взоры, что старик Иван Иванович теперь боялся, как бы у Бакланова, в свою очередь, не было намерения “запалить в морду” мичману, и нетерпеливо ждал конца этого “бабьего” плавания, благодаря которому на клипере пошел кавардак и все очумели.

Один только старший офицер Степан Дмитриевич, не обнаруживая особенной ревности ни к кому, залихватски покручивал усы, с спокойной уверенностью человека, дело которого в шляпе. “Скоро все объяснится!” — не раз думал он и нередко гляделся у себя в каюте в зеркало, не без приятного чувства удовлетворения любуясь своей красной, угреватой физиономией с длинным носом и маленькими воспаленными глазками, не без некоторого основания уподобленной Цветковым “медной кастрюльке”. Но у Степана Дмитриевича было насчет своего лица особое

мнение, и он полагал, что всякая умная женщина должна была находить его лицо привлекательным.

Он давно подпускал пассажирке какие-то отдаленные намеки насчет уз Гименея и своих надежд скоро быть капитаном, и молодая женщина со страхом ожидала с его стороны серьезного нападения.

Эти “добрые” моряки представлялись ей теперь несколько в ином свете. “Они, конечно, милые люди, но, верно, еще милее на сухом пути”, — не раз говорила себе хорошенькая вдовушка, чувствуя на себе с каждым днем все более и более влюбленные взгляды и нередко такие красноречивые, что краска невольно заливала ее лицо; и она плотнее закрывала косынкой свою белоснежную шею и пышную грудь и, несмотря на жару, показывалась не иначе, как в высоких платьях с длинными рукавами.

И когда дедушка, наконец, зашел к ней однажды и сообщил, что через неделю, если, бог даст, все будет благополучно, клипер придет в Гонконг, она выразила большую радость.

— Обрадовались, Вера Сергеевна? — усмех-

нулся хитро дедушка... — Уж вы не сердитесь, а откровенно признаюсь, что и я порадуюсь, несмотря на все мое к вам уважение, когда вы покинете клипер.

— Вы-то отчего, Иван Иваныч? — спросила, улыбаясь, пассажирка.

— Разве не видите, Вера Сергеевна? Небось отлично видите, что теперь делается на клипере. Жили мы без вас, милая барыня, мирно и покойно, волновались только по службе, а теперь?.. Все друг на друга косятся... Все от вас без ума и совсем сделались вроде бесноватых...

— Да разве я виновата, Иван Иванович? Кажется, я никому не подавала повода... Я не знала, что моряки такие влюбчивые, — прибавила пассажирка.

— Вы ничуть не виноваты, если не считать виной, что господь бог создал вас такой хорошенькой. Простите, Вера Сергеевна, мне, старику, можно это сказать, — проговорил старый штурман отеческим тоном, избегая, однако, глядеть на ослепительно свежее лицо пассажирки.

— Я больше никогда не поеду на военном

судне, — промолвила она.

— И не следует... Я никогда не брал бы пассажирок, особенно таких милых, как вы... А бедняга Цветков что-то опять загрустил. Как бы не натворил глупостей! Уж вы его образумьте, Вера Сергеевна. Вас он послушает.

— Каких глупостей? — спросила пассажирка, и в голосе ее дрогнула испуганная нотка.

— А кто его знает. От этого сумасшедшего можно всего ожидать. Пожалуй, захочет бежать за вами, и тогда прощай его служба. Жаль будет. Малый он славный, и сердце золотое, и офицер блестящий... Я его очень люблю... Одна беда, — улыбнулся дедушка, — как влюбится, так ему море по колена на первых порах. Совсем отчаянный становится... Уж вы урезоньте его... Уедете вы, и он придет в себя... Отходчивый!

— Отходчивый? — протянула пассажирка. — Ну конечно, эта блажь скоро пройдет. Благодарю, что предупредили, милый дедушка. Постараюсь убедить его не дурить...

— Только теперь ему ни полслова, а то непременно удерет за вами. Сумасброд на редкость и упрям, как лошак.

XII

Приглашать пассажирку обедать в это воскресенье в кают-компании пошел, по обыкновению, старший офицер, но в этот раз всем невольно бросилась в глаза какая-то особая торжественность и в лице, и во всей плотной, небольшой и неказистой фигуре Степана Дмитриевича. Он был по-праздничному, в виц-мундире, с Станиславом на шее и Анной в петлице [15], весь сияя, как хорошо отчищенная медная пушка. Лысина была тщательно зачесана, редкие волосы напомажены, усы подфабрены, и весь он благоухал, несколько не пожалевши духов.

В таком великолепии явился он после доклада Чижикова перед пассажиркой и после приветствия, пожав ей руку, сел в кресло и сказал:

— От лица всей кают-компании явился к вам, Вера Сергеевна, покорнейше просить сделать честь и пожаловать к нам сегодня откушать. Надеемся, вы осчастливите нас своим посещением, не правда ли? — прибавил Степан Дмитриевич и стал крутить усы,

взглядывая на пассажирку с победоносным видом обаятельного мужчины.

Пассажирка любезно поблагодарила и обещала быть.

Обыкновенно после подобного приглашения Степан Дмитриевич, сказав два-три слова, удалялся, но на этот раз он плотнее уселся в кресле, выпятив грудь колесом, и после небольшой паузы проговорил:

— Увы! это последнее воскресенье, что мы видим вас на клипере, божественная Вера Сергеевна. Еще три дня, и клипер осиротеет, как только бросит якорь в Гонконге. Вам не жаль покидать нас? Никого не жаль?

— Напротив, всех жаль. Все так баловали меня своим вниманием.

“Лукавишь”, — весело подумал Степан Дмитриевич и продолжал, отставив чуть-чуть вбок свою коротенькую толстую ножку.

— Но вы ни о чем не догадывались? Вы не заметили, что с моей стороны было нечто большее, чем простое внимание? — не без пафоса проговорил старший офицер, и его маленькие глазки еще более сузились и словно хотели совсем спрятаться от полноты чувств.

“Вот оно, начинается!” — со страхом подумала пассажирка и промолвила:

— Как же, я видала вашу доброту и заботливость и очень вам благодарна.

— Не совсем то, далеко не то, Вера Сергеевна... Не одна заботливость, не одна доброта, а чистосердечно скажу: более серьезное чувство... Казалось, что и вы показывали мне расположение, Вера Сергеевна... Не конфузьтесь, пожалуйста, — вставил Степан Дмитриевич, заметив, что пассажирка достала платок, чтобы скрыть едва удерживаемый смех, — я не мальчик, а человек солидный, мне сорок лет, и я пришел к вам с серьезными намерениями... с очень серьезными и основательно обдуманнами... Давно собирался я вкусить счастья семейной жизни, но до сих пор не встречал особы, которая... которая внушила бы мне глубокое чувство, пока не встретил под небом далекой Америки вас...

Степан Дмитриевич остановился, чтобы вытереть надушенным платком пот, обильно струившийся по его лицу, и с большим одушевлением продолжал:

— Я — человек не злой, характер у меня

ровный, и я буду любить и хранить вас, как дорогую жемчужину... Служебное положение мое обеспечено, и у меня кое-что есть на черный день... Смею надеяться, что вы, после тяжелых испытаний, захотите тихой пристани и осчастливите одинокого человека, давши слово быть его другом и женой, — с чувством произнес старший офицер. — Через шесть месяцев мы вернемся в Россию. Ждать недолго. Надеюсь, и я вам нравлюсь, Вера Сергеевна? — закончил Степан Дмитриевич не без самоуверенной улыбки и ждал ответа.

Но пассажирка молчала, давно склонив голову, чтобы скрыть смеющееся лицо. Этот самоуверенный тон был так комичен!

Степан Дмитриевич, имевший несчастье считать себя неотразимым мужчиной, объяснил это молчание совсем иначе и, любуясь бюстом пассажирки замаслившимися глазками, проговорил нежным, ласковым шепотом:

— Милая Вера Сергеевна!.. Не конфузьтесь! Поднимите головку... взгляните на меня... Ведь вы согласны, да?.. Не волнуйтесь, ради бога... Вы молчите?.. Ну протяните вашу прелестную ручку в знак согласия...

Пассажирка подняла голову и, стараясь быть серьезной, чтобы не оскорбить Степана Дмитриевича, ответила, кусая губы:

— Благодарю за честь, но... я не собираюсь замуж.

Степан Дмитриевич опешил и наивно спросил:

— Значит, вы отказываете?

— Как видите...

— Но, быть может, это не решительно... Вы подумаете и...

— Нет, Степан Дмитрич, решительно...

— В таком случае... извините... А я, признаться, надеялся... Что ж... Ошибся... Надеюсь, это между нами... Дай вам бог счастья, Вера Сергеевна.

И, шаркнув ножкой, как обучали его в корпусе, Степан Дмитриевич, скушавши на своем веку пятый отказ, с достоинством удалился, не столько обиженный, сколько изумленный.

“Я считал пассажирку гораздо умнее. Оказывается, совсем глупая бабенка!” — высокомерно подумал Степан Дмитриевич.

Однако он был красен как рак, когда во-

шел в кают-компанию, и не имел прежнего торжественного вида.

Обед в кают-компании в это воскресенье прошел как-то натянуто. Все точно стеснялись чем-то и недружелюбно посматривали друг на друга. Взгляды прояснялись лишь только тогда, когда обращались на пассажирку. Она была в светлом высоком платье, по обыкновению любезная, приветливая и ослепительная. Капитан предпочтительно занимал ее, повторяя старые рассказы, и часто путался. Степан Дмитриевич, хоть и по-прежнему победоносно покручивал усы, но казался несколько раздраженным. Бакланов сидел с “разбитым сердцем”, милорд был мрачен, а кругленький чистенький доктор хоть и выручал капитана, поддерживая разговор с гостью, но имел несколько обиженный вид огорченного кота. Исхудавший Васенька, сидевший на конце стола, поминутно краснел, бросая робкие взгляды на пассажирку. Только дедушка, механик, артиллерист Евграф Иванович и вихрастый гардемарин с сочными губами ели и пили с обычной исправностью.

— А барометр все падает, Иван Иваныч, —

заметил в конце обеда капитан. — Как бы сегодня не засвежело!

— К тому идет-с. Пожалуй, и не дотянем нашего счастливого плавания...

— Вот, Вера Сергеевна, вы нас скоро покидаете — и погода нам изменяет, — любезно промолвил капитан, умильно взглядывая на пассажирку. — Сегодня и небо уж не прежнее... Тучи заходили, и океан зашумел... Сердятся, что мы вас отпускаем.

И только он это сказал, как сверху раздался громкий, взволнованный голос Цветкова, торопливо и возбужденно командовавший:

— Брам-фалы и марса-фалы отдать! Фок, грот и бизань на гитовы! Кливера долой!

В ту же секунду вбежал сигнальщик.

— Шквал, вашескобродие, — доложил он капитану.

— Извините, Вера Сергеевна, — вымолвил капитан и торопливо вышел. Вслед за ним вышли старший офицер и дедушка. Вестовые бросились закрывать люк.

Видя спокойные лица оставшихся за столом, пассажирка без страха, хотя и волнуясь, доканчивала пирожное, как вдруг сверху до-

несся какой-то потрясающий гул, в кают-компании потемнело, с грохотом покатилась по суду, и молодую женщину бросило на другой конец дивана. Клипер лег на бок, и пассажирка чувствовала, как она вместе с ним наклоняется все ниже и ниже.

Сияясь улыбнуться, она испуганно посмотрела на моряков. Бакланов, доктор и Васенька подошли к ней.

— Не пугайтесь, Вера Сергеевна, он сейчас встанет, — успокаивал Бакланов.

— Никакой опасности нет, — авторитетно проговорил юный Васенька.

Но клипер не вставал! Его кренило все больше и больше... Казалось, вот-вот он сейчас опрокинется. Эти секунды были ужасны. Бледная как смерть, с широко открытыми от ужаса глазами, пассажирка глядела перед собой. И у всех лица мгновенно сделались необычайно серьезными. Трепет страха застыл в глазах. Все инстинктивно бросились вон из каюты.

— Пойдемте, — стараясь казаться спокойным, выговорил Бакланов и повел пассажирку вверх, поддерживая ее руку. Васенька

шел за ними. Он твердо решил в случае гибели клипера спасти пассажирку.

Страшный вихрь разметал её волосы, и они рассыпались по плечам. Бакланов подвел ее ко входу в капитанскую каюту. Там стояла уже испуганная Аннушка и то и дело крестилась.

XIII

Клипер между тем уже поднялся и бешено мчался. Паника, охватившая молодую женщину во время этой долгой, бесконечной минуты лежания на боку клипера, поваленного жестоким шквалом, прошла вместе с мыслью о гибели. Вид людской толпы бодрил пассажирку. Все еще взволнованная от только что испытанного ощущения казавшейся ей близости смерти, она торопливо подобрала свои роскошные волосы и при помощи Аннушки завязала в узел. Смышленный Чижиков, бывший во время шквала при Аннушке, догадался принести пассажирке ватерпруф и платок на голову.

— Оденьтесь, барыня, неравно продует.

Между тем боцман как бешеный проревел: “Пошел все наверх!” — и все бросились на свои места. Бакланов еще раньше побежал к своей фок-мачте, а Васенька, не оставлявший пассажирки, полетел на мостик, где должен был находиться при капитане во время аврала. Уходя, он сказал молодой женщине:

— Видите, никакой опасности нет. Вы не

бойтесь, Вера Сергеевна, — прибавил он голосом, полным нежного чувства, и с выражением необыкновенно серьезной и трогательной заботливости на своем юном лице. И совсем заалел, встретив благодарный, ласковый взгляд пассажирки.

Две женщины остались одни.

Пассажирка огляделась. Боже, как все переменилось кругом! Небо было сплошь усеяно клочковатыми нависшими тучами, океан шумел, вздымая высокие седые волны, и сильный ветер свирепо гудел в снастях. На оголенных мачтах клипера трепыхались разорванные в клочки громадные марсели, а от брамселей оставались одни лоскутки.

На палубе и на реях кипела работа. Снизу принесли новые марсели и подняли их, взявши предварительно все рифы. Марсовые, покачиваясь на реях, отвязывали разорванные паруса, чтобы потом привязать новые. Брам-стенги и брам-реи уже были спущены. Раздавались какие-то непонятные для пассажирки командные слова старшего офицера, грозные окрики капитана, и по временам с бака доносились отчаянные ругательства боцманов,

разрешивших себя от долгого воздержания. В первый раз пассажирке пришлось увидеть морскую жизнь в ее суровой обстановке и моряков за тяжелым, полным опасности делом. А ветер крепчал, волны росли, все сильнее раскачивая клипер. Качались стремительнее и матросы вместе с реями, концы которых сцепившимися на них людьми висели над водяной бездной.

Капитан, стоявший на мостике, расставив свои толстые ноги, сосредоточенный и серьезный, с энергичным и суровым выражением на красном лице, не имел теперь ничего общего с тем смешным, лебезившим ухаживателем, говорившим пошлые любезности и приторные речи, которого знала пассажирка. И он, казалось ей, был теперь не прежний уродливый толстяк, а не лишенный своеобразной красоты “морокой волк” среди бушующего океана. И Степан Дмитриевич со своим комичным самомнением о прелести своей персоны был теперь далеко не смешон, спокойно и уверенно распорядившись авралом и командовавший тем авторитетным тоном знающего свое дело человека, который в ми-

нугу опасности вселяет бодрость и уверенность в других. Невольно чувствовалось, что эти люди — верные рыцари долга. И Бакланов точно сбросил свое хлыщество и вид “разбитого сердца”, весь, казалось, проникнутый одной мыслью, чтобы у него поскорее переменяли фор-марсель и не отстали от грот-марса. И милорд не корчил англичанина, а усердно и ретиво наблюдал за работой на юте. А где же Цветков? — искала глазами пассажирка, и, наконец, поднявши взгляд наверх, увидала его, веселого, румяного, с выбившимися из-под фуражки кудрями, на грот-марсе, куда полез он, чтобы на месте руководить переменной грот-марселя, и где матросы, любившие мичмана и называвшие его между собой Володей, веселей и спорей работали, подбадриваемые его веселыми словами и его жизнерадостным и отважным видом...

И никто из них не обращал теперь на хорошенькую пассажирку никакого внимания. Точно ее и не было.

“Совсем они стали другие”, — подумала пассажирка.

Через полчаса работы были окончены, и

клипер с зарифленными марселями бежал, подгоняемый засвежевшим ветром, удирая от попутной волны.

XIV

К утру следующего дня в море “ревело”. Обедных пассажиров укачало, и они отлеживались по своим каютам. Капитан часто навещался к пассажирке и через закрытую портьеру уверял, что нет ни малейшей опасности, выражал негодование на погоду, лишавшую его счастья видеть очаровательную Веру Сергеевну, и опять говорил любезности. Чижиков находился безотлучно при пассажирках и ухаживал за ними, разгоня находивший по временам на них страх своим спокойным видом и ласково улыбающимися глазами. Он каждый день докладывал барыне, что мичман Цветков “кланяются и просят узнать о здоровье”, и передавал мичману, что пассажирка велела очень благодарить. И за это получал от мичмана доллары. А Аннушку он усердно угощал лимонами, развлекал болтовней и, пользуясь иногда молчаливым ее согласием, чмокал в щеки.

Через три дня клипер с попутным штормом влетел в Гонконг и, бросив якорь, недвижно замер в затишье закрытой бухты.

В тот день — после прощального обеда, во время которого пассажирке высказывались самые горячие пожелания и самые пылкие сожаления об ее отъезде, — она съехала в город и перебралась в гостиницу в ожидании парохода, уходившего в Европу через три дня.

Подсторожив пассажирку перед отъездом одну, Цветков просил разрешения быть у нее на берегу. Ему необходимо переговорить об одном очень важном деле. Он так умоляюще глядел, и вид у него был такой серьезный и решительный, что пассажирка шепнула: “Приезжайте”, — надеясь отговорить его от “штуки”, которую он, видимо, собирался выкинуть.

“Да и отчего не повидаться с этим милым мичманом перед тем, как расстанемся навсегда?” — подумала мраморная вдова, чувствуя к нему невольную благодарность за его сумасшедшую любовь.

Аннушка вышла из каюты с заплаканными глазами, а Чижиков с особенно серьезным видом старательно перетаскивал вещи и подавал их на шлюпку, и когда шлюпка была готова, подошел к капитану и, осененный вне-

запным вдохновением, доложил:

— Барыня приказала помочь на берегу и вещи доставить. Прикажете ехать, вашескобродие?

Капитан махнул головой, приказав поскорее вернуться.

— Есть! — весело ответил Чижиков и вслед за пассажирками юркнул на нос катера.

Когда катер отвалил, с клипера раздались прощальные приветствия, и с палубы долго еще махали шапками и платками.

— Ну, слава богу, уехали! — прошептал, облегченно вздыхая, дедушка и бросил испытующий взгляд на озабоченного Цветкова.

Отвозил пассажирку Васенька, который и привез ее в Сан-Франциско на клипер. Грустный сидел он на руле сзади молодой женщины и безмолвно любовался ею в последний раз.

XV

Под вечер следующего дня Цветков, одетый в статское летнее платье, со шлемом, обвитым кисеей, на голове, поднимался с пристани в город пешком, отвергнув предложение китайцев-носильщиков снести его в паланкине. Он ходко шел, несмотря на жару, занятый приятными мыслями. За этот день он сделал все приготовления для осуществления своего плана: взял у ревизора жалованье за месяц и заручился согласием артиллериста Евграфа Ивановича дать ему займы под расписку пятьсот долларов. “Очень, мол, нужно”. У милорда он не решался просить: они были в натянутых отношениях, да скупой милорд и не дал бы. Отказал бы и дедушка, догадавшись, на что ему нужны деньги. С этими капиталами можно пуститься в путь. Вдобавок он отсюда пошлет бабушке телеграмму, чтобы немедленно выслала в Суэц тысячу рублей. Обожавшая внука старуха, конечно, вышлет. С капитаном разговор будет короток. Он подаст ему рапорт о том, что желает списаться с клипера по болезни, и на словах объ-

яснит, что не может больше с ним служить и выносить его вечные разносы и придирки. А не то скажет, что получил телеграмму о смерти бабушки (“Дай бог доброй старушке здоровья!”) и его немедленно вызывают для получения большого наследства. Там видно будет. “Верь не верь, это твое дело!” А если “толстый боров” заартачится, он удерет и без разрешения. Пусть выгонят в отставку. Наплевать! Только бы она разрешила ему ехать с ней.

Вот и роскошный, громадный “Oriental Hotel” с чудным садом по ту сторону гостиницы. Он хорошо ее знал, проигравши в одном из номеров сто долларов в ландскнехт Бакланову два года тому назад, когда клипер шел из России и простоял здесь неделю.

Он подал швейцару индусу в белой чалме визитную карточку, приказав передать ее миссис Кларк (вчера приехала). Темно-бронзовый швейцар позвонил, и бесшумно спустившийся слуга китаец снова пошел с карточкой наверх, а Цветков вошел в обширный, роскошно убранный “parlour” [16]. В полутемной, прохладной комнате, с опущенными жалюзи, за большим столом посредине, завален-

ным газетами и иллюстрациями [17], сидели только две старые англичанки, которых мичман, разумеется, тотчас же мысленно осыпал проклятиями, опускаясь на самый отдаленный от стола мягкий диванчик.

Прошла минута, другая, и молодая женщина вошла в гостиную. Англичанки подняли головы, пошевелили своими выдавшимися челюстями, оскалив большие белые зубы, и снова погрузились в чтение.

— Пойдемте лучше в сад, там будем беседовать о важных делах, — шутливо промолвила вполголоса молодая женщина после рукопожатий.

— Господи!.. Да как же вы сегодня прелестны! — невольно вырвалось у Цветкова, и он, словно очарованный, благоговейно глядел на Веру Сергеевну, которая действительно была обворожительна в своем летнем светлом платье с прозрачными рукавами, сквозь которые сверкали ослепительно белые руки, и казалась совсем молодой девушкой по своей гибкой изящной фигуре и нежной свежести лица.

— Об этом можно бы и не говорить, — полушутя, полусерьезно возразила она, поправляя в своей золотистой косе пышную ярко-красную розу. — Пойдемте.

Они прямо из гостиной вышли в сад, сверкавший яркими цветами в клумбах и роскошью густой листвы тропических деревьев. Он осмелился предложить ей руку, она взяла ее, и они направились в глубь сада. Мичман замирал от восторга, что идет с ней под руку, от волнения не находил слов и, умиленный, только искоса взглядывал на очаровательную блондинку и ступал с боязливой осторожностью, словно боясь, что это счастье вдруг рушится.

— Ну что ж вы примолкли, Владимир Алексеич? Какие у вас такие важные дела, рассказывайте, — промолвила молодая женщина и, чувствуя, как вздрагивает рука молодого мичмана, поспешила опуститься на скамейку, стоявшую в конце аллеи, под прохладной тенью густолиственного тамаринда [18]. — Садитесь, а то жарко ходить! — прибавила она...

Он сел с видом обиженного ребенка, у ко-

торого вдруг отняли игрушку, и сказал:

— Не смейтесь, Вера Сергеевна!.. То, о чем я хочу говорить, для меня очень важно... очень...

И, “волнуясь и спеша” [19], он объявил, что положительно не в состоянии перенести с ней разлуки. Он бросит клипер и поедет за ней.

— Зачем? Чего вы хотите? На что надеетесь? Ведь я говорила вам, что не могу ответить на ваше чувство!..

О, он ничего не требует... Он только молит не прогонять его и позволить ему быть поблизости от нее, видеть это божественное лицо, слышать этот дивный голос... Жизнь без нее будет одним страданием... Он убедился в этом за те три дня во время шторма, в которые он не видал ее... Он будет ждать год, два, целую вечность... и когда она убедится, что привязанность его глубока и беспредельна, тогда, быть может...

Он не смел закончить и, вдруг охваченный молодой страстью, с глазами, блестящими от навертывавшихся слез, схватил эту маленькую ручку и припал к ней, покрывая ее

беззвучными поцелуями.

И листья тамаринда тихо шелестели над головой мичмана и словно насмешливо шептали: “Он ничего не требует”.

Молодая женщина не отнимала руки. Эти горячие поцелуи среди тишины и прелести тропического сада взволновали и эту мраморную вдову, так долго жившую лишь воспоминаниями о прежней любви. И ее замерзшее сердце оттаивало под ними, как хрупкая льдинка под вешним солнышком. Полузакрыв глаза, она чувствовала, как жгучая истома разливается по ее существу, и в голове ее вдруг мелькнула мысль: “А что ж, пусть едет!”

Но в следующее же мгновение явился вопрос: “Зачем? Не идти же ей, тридцатилетней вдове, за этого юного сумасброда. Он и она — нищие. Хороша была бы пара!”

И она, не без тайного сожаления, высвободила свою горячую руку и заметила строгим тоном, подавляя невольный вздох:

— Не нервничайте, Владимир Алексеич. Ваша любовь скоро пройдет. Помните, сколько раз вы клялись в любви? — прибавила она, припоминая слова дедушки.

Мичман виновато опустил свою кудрявую голову.

— То была не любовь! — промолвил он.

— А что же?

— Ерунда! — решительно заявил мичман.

— И теперешняя будет тем же, — улыбнулась Вера Сергеевна.

— Неправда! — горячо возразил Цветков. — Хотите, сейчас докажу?..

— Нет, не надо... Верю... верю, — испуганно прошептала молодая женщина.

— Так умоляю вас, позвольте мне ехать!..

— Образумьтесь, Владимир Алексеич!.. Ваша служба... карьера.

Мичман горько усмехнулся.

Он готов был броситься за нее в океан, а она говорит о службе, о карьере...

— Но я не допущу этого безумия. Я не хочу, чтобы вы ехали, слышите ли?

Мичман мрачно опустил голову.

— А я все-таки поеду, — решительно сказал он. — Я не могу. Я не подойду к вам, если вы запрещаете, но издали буду смотреть на вас... А это разве не счастье! — воскликнул он.

“Господи! что мне делать с этим сумасшед-

шим!” — подумала молодая женщина и решилась прибегнуть к хитрости.

— Послушайте, Владимир Алексеевич, я вижу, что вы серьезно любите, но потребую от вас испытания...

— Какого хотите...

— Подождите шесть месяцев... Это недолгий срок... Мы будем переписываться. И если вы будете так же любить меня, то тогда...

— Что тогда? — воскликнул просиявший мичман.

— Тогда являйтесь ко мне и... я посмотрю... Быть может, я соглашусь за вас выйти замуж.

— О господи... Такое счастье!

И мичман, не помня себя от восторга, в знак благодарности, бросился целовать руки. И пассажирка позволила ему выразить свою благодарность таким образом. Ведь они скоро навсегда расстанутся! Они просидели еще несколько времени. Он говорил ей о своих будущих планах, о том, как будут они жить вдвоем, шептал о своей любви и снова целовал руки, снова говорил и опять целовал... А мраморная вдова слушала этот влюбленный лепет с тайной радостью, и когда опустились

сумерки, ей все не хотелось уходить...

“Ведь мы видимся в последний раз!.. Он завтра уходит в море...”

Часы где-то пробили десять, а они все еще сидели, и рука ее была в руке мичмана.

— Пора, — прошептала, наконец, она, вставая. — Прощайте, милый юноша!..

И с этими словами вдруг обвила его шею и прильнула к его губам.

— Теперь идите, — почти гневно шепнула она, отталкивая мичмана... — Вот вам на память... Пишите!..

Она выдернула из волос розу и подала ее Цветкову.

Трепещущий от счастья, он прижал розу к губам и прошептал:

— Так через шесть месяцев...

— Через шесть... Уходите... Уходите... Прошу вас...

Он ушел, поминутно оборачиваясь, чтобы взглянуть на белеющую в темноте фигуру, медленно следовавшую за ним.

Вернулся он на клипер в одиннадцатом часу, чувствуя себя таким счастливым, как никогда, и бережно спрятал розу в шифоньерку.

— Что, брат Егорка, ведь хорошо, а? — неожиданно обратился он к вошедшему Егорке.

— Точно так, ваше благородие!.. Ужинать не угодно ли?

— Ужинать?! Кто нынче ужинает?..

Егорка сперва подумал, что барин спятил с ума, а потом решил, что, видно, они с пассажиркой “договорились”, наконец, на берегу.

Цветков заглянул в кают-компанию. Там, кроме Ивана Ивановича да отца Евгения, никого не было. Все были на берегу.

Увидавши счастливое, радостное лицо мичмана, дедушка недовольно крякнул и решил, что пассажирка его обманула, обещаясь уговорить своего сумасшедшего поклонника.

“Верно, позволила ему ехать за ней”, — с тревогой подумал он, прослышав от Евграфа Ивановича, что Цветков у него берет пятьсот долларов.

— Что так рано с берега, Владимир Алексич? — спросил Иван Иванович.

— Да нечего делать на берегу...

— А наши все закатились в театр, а оттуда ужинать и, конечно, с дамочками...

— И пусть себе. Не завидую.

И Цветков скоро ушел в свою каюту, чувствуя потребность быть одному, и стал строчить горячее послание к Вере Сергеевне.

Когда на другой день клипер ушел в море, следуя, по телеграфному предписанию адмирала, в Калькутту, и дедушка увидал, что Цветков весел и счастлив, как вчера, старый штурман окончательно стал в тупик.

— Провела его, верно, лукавая бабенка, — решил он, искренне радуясь за мичмана.

XVI

С отъездом пассажирки с клипера и после побывки господ офицеров на берегу в кают-компании по-прежнему скоро воцарилось согласие. Ни у кого не являлось мысли кому-нибудь “запалить в морду”, на клипере не разило духами и помадой, и боцмана да и господа офицеры не стеснялись уснащать командные слова вдохновенной “морской” импровизацией. Капитан снова ходил в засаленном сюртуке, спал и ругался отлично, похудеть не желал, и жидкие косички супруги больше не беспокоили его воображения. Он не придирался без толку к офицерам, и Цветков снова стал его любимцем. Степан Дмитриевич остался при старом мнении, что пассажирка, хоть и недурна собой, но “глупая женщина”, а милорд снова стал цедить, что в ней нет “ни-че-го осо-бен-но-го”, и писал длиннейшие письма к своей невесте. Бакланов, кажется, починил свое “разбитое сердце” за ужином с наездницей из цирка в Гонконге, а доктор перестал проповедовать о разводе. Один только Васенька иногда мечтал перед

сном о божественной пассажирке.

А Цветков?

В первое время он ежедневно строчил ей нечто вроде письма-дневника. Там были и проза и стихи. Сначала более стихов, а потом прозы. Из Калькутты он послал это письмо-монстр, деликатно зафранкировавши [20] его, и просил отвечать в Мельбурн. Там он письма не получил и с горя отправился на бал к губернатору, где много танцевал с одной хорошенькой англичанкой, женой адвоката. Он находил ее чертовски прелестной и часто бывал у нее, но, однако, воздержался от признания, имея на совести воспоминание о поцелуе в саду "Oriental Hotel'я" в Гонконге. Из Мельбурна он снова написал, но уже не письмо-монстр, и упрекал Веру Сергеевну в молчании. И когда в Шанхае мичман получил письмо от пассажирки, пересланное из Мельбурна, оно показалось ему коротким и недостаточно горячим... Еще бы! Он ей писал на десяти листках, а она всего на двух!.. Правда, в этих листках слышалось дружеское чувство и как будто даже что-то большее, но ведь бумага не то, что хорошенькое личико. Он от-

ветил на это письмо и опять говорил о любви, а потом... потом... новые встречи... новые увлечения...

Нужно ли прибавлять, что когда через год (а не через шесть месяцев) клипер вернулся в Россию, легкомысленный мичман не явился к очаровательной пассажирке.

Но засохшая роза хранится у него до сих пор, напоминая давно прошедшую молодость.

Примечания

Впервые — в газете “Русские ведомости”, 1892, №№ 186, 190, 202, 218, 232, 248, 267. 271, с подзаголовком: “Из воспоминаний бывшего моряка” и посвящением Н.Г.Гарину — писателю Николаю Георгиевичу Гарину-Михайловскому (1852-1906).

[^^^]

...похож на Бобчинского... — По “замечаниям для господ актеров” Гоголя Бобчинский — низенький, коротенький, очень любопытный, с небольшим брюшком, говорит скороговоркою к чрезвычайно много помогает жестами и руками.

[^^^]

3

Сакраменто — город на западе США.

[^^^]

4

Моряки говорят. “Снасть заела”, то есть снасть не идет, остановилась. (Прим. автора.)

[^^^]

5

Стракулист (строкулист) — прозвище приказных.

[^^^]

Каначки . — Канаки — старинное название жителей островов Полинезии; на языке туземцев Гавайских островов “канак” — человек, житель страны.

[^^^]

7

...я ему задал “ассаже” — то есть осадил, образумил.

[^^^]

Сангарский пролив — между островами Хонсю и Хоккайдо (Япония).

[^^^]

9

люблю тебя, люблю тебя (итал.).

[^^^]

Гревзенд (Грейвзенд) — город на восточном побережье Англии.

[^^^]

...барышня из баррума... — то есть из небольшого ресторана, бара.

[^^^]

Шифоньерка. (Прим. автора.)

[^^^]

наедине (франц.).

[^^^]

аппетит приходит во время еды (франц.).

[^^^]

...с Станиславом на шее и Анной в петлице... — Станислав — польский орден, с 1831 года вошедший в состав российских орденов; Анна — орден св. Анны, учрежденный с 1797 года.

[^^^]

гостиную (англ.).

[^^^]

...за... столом... заваленным газетами и иллюстрациями... — Иллюстрации — здесь в значении: иллюстрированные журналы.

[^^^]

Тамаринд — тропическое вечнозеленое дерево.

[^^^]

...”волнуясь и спеша”... — нередко встречающаяся в произведениях Станюковича цитата из стихотворения Н.А.Некрасова “Памяти друга” (1853).

[^^^]

Зафранкировать — то есть предварительно оплатить доставку.

[^^^]